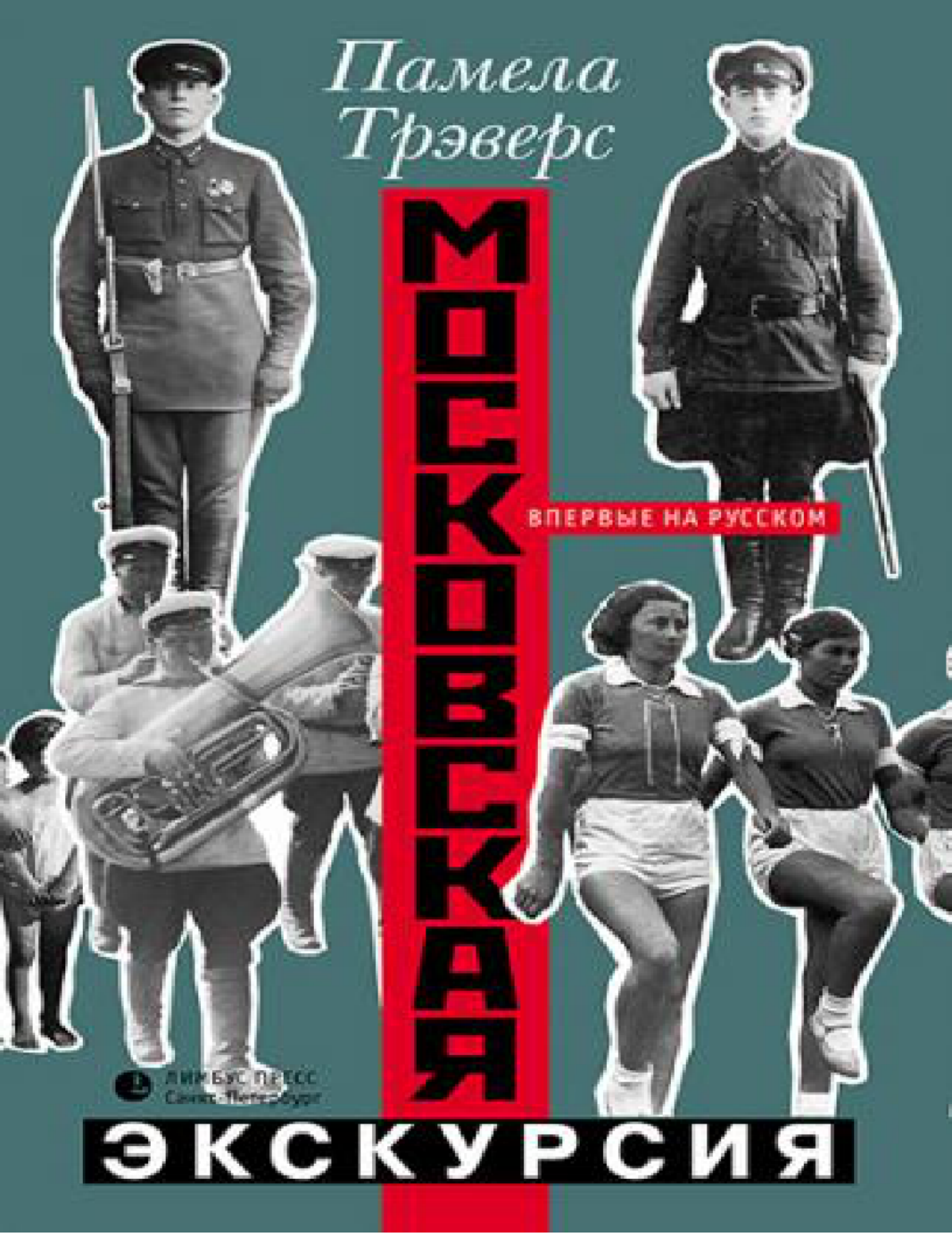
Памела Трэверс
МОСКОВСКАЯ
ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ
ЭКСКУРСИЯ
ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В 1932 году будущая английская писательница Памела Трэверс, автор знаменитой «Мэри Поппинс», посетила Советскую Россию. В отличие от столпов западной литературы, почетных гостей СССР, таких как Бернард Шоу, Ромен Роллан, Анри Барбюс, молодая журналистка Трэверс увидела здесь не парадный фасад, а реальную картину — сложную и противоречивую. Она не готова восхвалять новый революционный порядок, но честно и по мере сил старается осмыслить то, что видит. Результатом этого осмысления явилась эта книга, вышедшая в Англии в 1934 году. На русском языке публикуется впервые.

- ○ Посвящается Х.Л.Г.
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6
  - ○ 7
- «Московская экскурсия»
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6
  - ○ 7
  - ○ 8
  - ○ 9
  - ○ 10
  - ○ 11
  - ○ 12
  - ○ 13
  - ○ 14
  - ○ 15
  - ○ 16
  - ○ 17
  - ○ 18
  - ○ 19
  - ○ 20

- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64

- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101

Посвящается Х.Л.Г.

Я хотела бы я знать, неужели все туристы в глубине души подозревают, что их водят за нос? Неужели тот, кто любовался ночным Парижем, катя в шарабане, вернувшись в отель, терзается тайными сомнениями: уж не потратил ли он впустую свои пятьдесят франков; а тот, кто отправился в кругосветное путешествие, не задумывается ли порой: а увидел ли он весь мир на самом деле? Конечно, трудно дать однозначный ответ на подобный вопрос, ведь, почувствовав сомнения, турист торопится заглушить их и принимается показывать коллекцию почтовых открыток или бронзовые безделушки из Индии. Но те, кто возвращается из Советской России, привозят менее материальные, но куда более изысканные трофеи. Пусть их нельзя развесить по стенам, как африканские копья или тигровые шкуры, зато вернувшийся из путешествия очевидец способен поразить слушателей образчиками пропаганды и статистическими данными, убедительно свидетельствующими о том, что со времен Ветхого Завета земля Ханаанская значительно сместилась на северо-восток.

Тех, кто не бывал в Советской России, подобные рассказы заставляют поверить, что туристам там показывают все самое лучшее. Вот и я, отправляясь в Россию, верила (сколько меня ни отговаривали) этим рассказам. Каково же было мое разочарование, когда я поняла, что во всех этих историях правды нет ни на грош! Настоящая Россия (которую все, кроме безнадежных романтиков, должны считать лучшей Россией) тщательно скрывается от глаз праздных простаков-туристов, как содержимое священного реликвария от обычных сынов Израилевых. Для туриста десять дней — пустой звук. Он слышал, что они потрясли мир, но их умирающее эхо не долетело до его ушей. Этого не допустили. Вместо этого ему представили возрожденную Россию с ее фабриками, яслями, музеями и электростанциями — внешнюю оболочку, подобную сброшенной коже. Если технические школы, детские сады и электрифицированные заводы — это все, что вы желали бы увидеть в России, то советую вам поберечь деньги и купить билет в Танбридж Велс или Брайтон. Там вы с равным успехом сможете воочию познакомиться с результатами десяти дней — точь-в-точь такими же, как их эквиваленты в Советской России. В конце концов, русский ребенок в русской колыбели мало чем отличается от любого другого младенца, а обувные фабрики и электрические столбы одинаковы по всему миру.

Но, боюсь, туристу не избежать осмотра подобных достопримечательностей. — Волей-неволей ему приходится выполнять роль доверчивого простака, у которого нет и не может быть своего мнения и которому все едино — что обувная фабрика, что Британский музей. Впрочем, сам факт того, что новая страна организует туристские поездки, уже свидетельствует о том, что она остепенилась и занялась своими делами. И хотя у нее нет времени потакать капризам чересчур любознательного путешественника, по финансовым причинам она поощряет его интерес. Чтобы по-настоящему увидеть Россию, не следует ехать туда туристом. Надо выучить язык и путешествовать в одиночку без сомнительной опеки государственных гидов. В противном случае путешественник с мало-мальским знанием истории оказывается в недоумении: большинство исторических событий видоизменились в трактовках до неузнаваемости, настолько они подправлены марксизмом и целесообразностью. Правда о прошлом, особенно о том, что относится к царизму, столь ужасна, что не нуждается в приправах, но гиды, по инструкции или из-за слишком живого воображения, склонны трактовать ее исходя из советских принципов, а бедные туристы, хоть и готовы из вежливости разделять в разумных пределах гнев *красных*, не могут не замечать, что гнев этот настолько преувеличен, что уже приводит к contretemps[1]. Именно эта намеренная фальсификация больше, чем что-либо другое, вызывает в вас возмущение, возможно, тоже чрезмерное, современным советским режимом. Как и тот очевидный факт, что это новое государство, которое столь благородно и героически сражалось в те десять дней, просто переродилось ныне в новую, более сильную форму буржуазной бюрократии. Вы ищете новую страну, а наталкиваетесь на старую, принаряженную в новую шляпу, но все равно узнаваемую, прежнюю.

Письма, из которых состоит эта книга, содержат впечатления туристки, которая путешествовала по СССР прошлой осенью. Эти совершенно личные заметки, конечно, не лишены предубеждения, поскольку изначально были обращены к одному-единственному адресату и не предназначались для публикации. Даже само название отражает их чисто временную значимость, и любой, кто решит искать в них обстоятельное рассмотрение Советского государства, обречен на разочарование. Вопреки условию, поставленному (если не по закону, то по прецеденту) авторам книг о России, эти письма не претендуют на исчерпывающую правду. Точно так же как они не выражают поддержки ни одной из партий. В мире, безумно балансирующем между фашизмом и коммунизмом как двумя формами тирании,

писатели, оказавшись перед выбором, предпочитают последний. Но это жалкая альтернатива, поскольку коммунизм в России существует лишь для одного-единственного класса и поэтому имеет мало общего с определением из словарей. Государство, где лев мирно лежит подле ягненка, а кулак — бок о бок с пролетарием, существует лишь на бумаге. Считать, что превратив столь непримиримых противников в супругов, спящих в одной постели, можно создать желанное бесклассовое общество, значит признать себя жалким идеалистом и благодушествующим филантропом по отношению к России, поставившей своей целью механизацию, а не гуманизацию государства.

Просто диву даешься: в России, возвестившей о своем стремлении к бесклассовому обществу, все поделено на ранги и классы! Это основа государственного устройства. Вас пытаются убедить, что на границах, словно злобный дракон святого Георгия, затаился классовый враг — главная угроза современной России. И пусть число таких врагов сократилось, тень их не стала меньше, что омрачает жизнь советским рабочим и воодушевляет их на все новые трудовые подвиги. Как удачно классовый враг заменил легендарное чудовище прошлого! Но не ищите его на этих страницах: туристу известно о нем только понаслышке — как жителям Крита о Минотавре. Жаль, но я его не встретила. Сладкая ложь, может, и лучше горькой правды, только верится в нее с трудом.

Нельзя не восхищаться мужеством и стойкостью нации, решившей ограничить свою жизнь лишь материальной стороной. Впрочем, восторги не стоит доводить до крайности. Вера в личность и в расширение человеческих возможностей не позволяет нам восхищаться механизированным государством, как бы прекрасно оно ни было спланировано. Рационализация, доведенная до своего Логического завершения, может означать только смерть. Разложив что-то на составные части, мы не поймем целого; расчлененное тело не объяснит нам, как в него вдохнули жизнь.

И все же ни один путешественник, и уж точно ни один турист не осмелится отрицать, что русская раса, темная, неведомая, исполненная внутренней мощи, обладает силой, способной переплавить разнообразные частички жизни в единый шаблон.

В заключение хочу отметить, что все персонажи этой книги собирательные, я намеренно дала им вымышленные инициалы. Если кто-то узнает здесь самого себя, я позволю деликатно возразить: это ошибка. *Наверняка* это кто-то другой.

Отрывки этих писем были опубликованы в недавних номерах

The New English Weekly. И я благодарна издателю за разрешение перепечатать их.

П.Т. Март 1934

1

Я купила билет в Россию.

Это известие, каким, бы простым оно ни казалось, отягчено различными каверзными обстоятельствами не меньше, чем сложнейший научный эксперимент. Оказалось, что поездка в Россию — затея не менее рискованная и сложная, чем путешествие в Австралию во времена капитана Кука. И дело не в том, что надо раздобыть деньги на билет, как это бы, задумай вы отправиться в Париж или на далекие Бермуды. Это еще лиха беда начало. Мытарства иммигранта, умоляющего о разрешении на въезд в перенаселенную страну, не идут ни в какое сравнение с той проверкой с пристрастием, которая уготована туристу, отправляющемуся в Советский Союз.

— Билет в Россию, пожалуйста.

Служащие «Интуриста» внимательно изучали мое лицо. Они явно заподозрили во мне матерую преступницу. Неужели хотят сдать меня в полицию? Нет, не похоже. По крайней мере не сейчас. Видимо, решили до поры до времени просто не спускать с меня глаз. Я догадалась об этом по тому, как они многозначительно переглянулись.

— Какой тур желаете?

Не сводя с меня подозрительных взглядов, служащие развернули передо мной список и сообщили, что я могу выбрать любой из утвержденных туров, но любые отклонения от маршрута будут сопряжены для меня со значительными осложнениями и большими расходами.

Я задумалась над списком, мои мрачные предчувствия витали среди куполов, башен, дворцов, степей, крестьян, бояр, Толстого, Красной Гвардии, рынков, императорского балета — и наконец замерли, остановившись на трех городах.

— Как насчет Петрограда?

Темные глаза василиска зыркнули на меня с укором.

— Извините, — поспешила я исправить свою ошибку, — я имела в виду Ленинград. И Москва — она ведь по-прежнему так называется? А еще — Нижний Новгород. И под конец, хотя это и не указано в маршруте, я бы хотела увидеть Казань.

Повисла угрожающая тишина.

— Могу я посмотреть Казань?

— Нет, если вы покупаете этот тур, то — нет.

— Тогда давайте я выберу тот тур, который включает Казань.

— Это невозможно.

Лица у всех четверых словно зашторены. Я смутилась и

почувствовала себя виноватой. Что я сделала не так? Что такого в этой Казани? Как человек, сказавший нечаянно непристойность, я поспешила сменить тему — явно слишком болезненную — и перешла к обсуждению оплаты.

— Хорошо, об этом договорились. Вы сказали, что есть корабль, который отправляется ...го.

Они снисходительно улыбнулись. Ну-ну, не все так просто, казалось, говорила эта заговорщицкая усмешка. Что дальше?

Оказалось, меня должны включить в одну из туристических групп. Отправиться в Россию можно только в составе группы — желание путешествовать в одиночку, видимо, идет вразрез с советскими принципами, а то и законами. Мне объяснили, что «Интурист» обо всем позаботится. Однако эти заверения не прибавили мне энтузиазма. Но отступать было поздно. Пришлось согласиться.

— Заполните анкеты.

Мне вручили стопку опросных листов, все одинаковые.

— На каждую приклейте фотографию. Потом мы их рассмотрим.

Выходит, придется еще ждать их одобрения. Я вышла на улицу, сжимая в одной руке брошюру с аляповатыми башнями, мужиками, рабочими и всякой техникой, надпись на обложке гласила: «Советская Россия — дом для свободных», а в другой — пачку анкет: место рождения, национальность, профессия, цвет глаз и т.д. и т.п. Воздушный шарик моего энтузиазма начинал сдуваться. Я уже чувствовала себя не восторженной туристкой, а скорее просительницей, ищущей работу и ждущей, когда рассмотрят ее бумаги. Отныне я не человек, как ошибочно считала прежде, а лишь пункт в файле на букву Т. Вот ведь злосчастье какое! Неужели в России душат вот так в зародыше любые порывы?

Я получила билет. И паспорт с визой! Интересно, что именно в тех четырех фотографиях лунатички с явными преступными наклонностями (фотокамеры, делающие снимки на паспорта, хоть и не лгут, но присочинить способны всякое) оправдало меня в глазах консула — или кто там выдает визы? Во всяком случае, меня признали неопасной и позволили приехать в Россию на несколько недель. Возможно, мои ответы в анкете сочли вполне здравыми, и это сгладило впечатление от фотографий — как знать?

— Возьми револьвер! — советовали мне.

Но зачем — чтобы палить по русским или на крайний случай застрелиться самой?

Просто удивительно: никто не может спокойно слышать даже упоминание о России! Все либо фанатично за нее, либо столь же фанатично против. Моя предстоящая поездка *либо шанс всей моей жизни*, либо *совершенное безрассудство*. Вздумай я отправиться на Арктур, это вызвало бы меньший переполох. Я готова пропустить эти пересуды мимо ушей, если бы они — как энтузиазм, так и осуждение — не имели политической подоплеки. Мне все равно и в то же время как-то неловко: ведь человек, лишенный политических идеалов, ныне выглядит такой же нелепицей, как корова на трех ногах. Увы, мне нет дела до политики. Но, похоже, никто и представить себе не может, что человек, не являющийся ни поклонником, ни противником советского режима, вздумал побывать в этой стране. Мое равнодушие к коммунистическому государству раздражает как его сторонников, так и противников — все они убеждены, что в Россию немыслимо ехать просто так. Противники Советов искренне смеются над подобной блажью, а сторонники полагают, что отправляться в путешествие лишь развлечения ради — пустая трата времени. В России, да будет мне известно, труд — венец всех желаний: работа ради работы, работа как смысл жизни. Где мы уже слышали эти слова прежде? Не кажется ли вам, что подобные идеи пытались вбить нам в головы последние две тысячи лет? Может, новая Россия на самом деле не так и нова? Что ж, скоро я это выясню.

Спасибо, что предложили мне лыжи, но, хотя это предпоследний тур в этом году, меня заверили, что они не понадобятся. К тому же, боюсь, мне будет не до развлечений...

Теперь я знаю, что чувствовали пилигримы, оказавшись в крошечной скорлупке корабля один на один с морем — каждый из них старался сохранить твердость верхней губы. Я вовсе не хочу им уподобляться, но другие пассажиры вынуждают меня к этому. «Прощайте, прощайте», — словно мы собрались на Альдебаран! «Рабу-о-чие», профессора, школьные учителя, бизнесмены и журналисты — все серьезны и скорбны. Еще бы: Россия неизменно присутствует в сводках новостей. «Культ России вытеснил в Англии культ негров» — гласил один из заголовков.

Культ России!

Северное море — унылое водное пространство. Альфред Монд[2], наверное, посчитал бы это бесполезным расточительством, но мы едва замечаем, что там за бортом. Мы слишком заняты разговорами и похожи на группы без умолку кричащих молекул, то сцепляющихся в кристаллы, то вновь

распадающихся. Бесконечная цепь разговоров (или споров), когда никто не удерживает руку другого дольше мгновения. Откуда подобный энтузиазм? Не сами ли мы себя распаляем? Я-то — наверняка. Ленин, нэп, Красная площадь, комсомол, 1905 год — ах, как замечательно! Даже слишком. Несомненно, это новая религия, заявляет Первый Профессор.

— О, несомненно...

— Чем вы *занимаетесь*? — спрашивает меня Учительница, а когда я отвечаю: «Ничем», смотрит на меня с укором. Для чего тогда ехать в Россию? Я и сама начинаю задавать себе тот же вопрос. У меня явно отсутствует правильное понимание. Все говорят о России как о святыне. А мне кажется, Советская Россия уже слишком стара и слишком крепко стоит на ногах, чтобы принимать ее за ребенка-вундеркинда, затесавшегося среди прочих государств.

— Я слышал, — говорит Бизнесмен из Манчестера, — что главная достопримечательность в Москве — это *кремлевская гробница*.

Наибольшим уважением на корабле у команды и пассажиров пользуются «рабу-о-чие». Они поднимаются на верхние палубы и беседуют с нами, или, скорее, обращаются к нам. Это напоминает речи в Гайд-парке, но интереснее и внушает больше доверия — еще бы: ведь они говорят о России. Неужели вы знаете о России лишь то, что там родился Достоевский? Известно ли вам, что это единственная страна в мире, где евреи могут получить работу? Вы слышали, что там нет голода, что каждый рабочий сыт и обут (а также его жена и дети) и обеспечен на всю жизнь? Знаете ли вы, что именно Ленин сказал: «Да будет свет...»?

Его изваяние красуется в красном углу в столовой для экипажа, а за ним — фриз из красно-белых плакатов. Ленин в трогательном окружении белых бессмертников — бронзовое божество, поблескивающее в свете раскачивающихся ламп, зловещая улыбка. Они еще не поклоняются ему, но это — до поры...

Здесь есть судовой кинозал. Нам предлагают поразительное зрелище: толпы рабочих, двигаясь по небольшому экрану, мерцают словно в тумане (линза сильно поцарапана) — появляются из темноты и вновь исчезают во мраке. Но не люди, а машины, заботливо опекаемые рабочими, вызывают наше громогласное русско-британское восхищение. Вот она — подлинная жизнь! Грубая красная русская жизнь. Затем следует пусть не столь увлекательный, но все же очень впечатляющий

антибуржуазный фильм. Чрезмерный пафос финальной сцены, когда темные воды Невы поглощают кресло, граммофон и бутылку пива, — очевиден. Разве это не подлинные символы буржуазии? Первый Профессор слишком потрясен, чтобы задать вопрос, напрашивавшийся сам собой: была та бутылка на момент погружения пустой или полной...

Им удалось превратить корабль в подобие учреждения строгого режима. Каждый член команды находится в ранге сержант-майора. Стоило мне за ужином закурить, как сигарету тут же выхватили у меня изо рта и унесли прочь на тарелке — словно горящую жертву советским порядкам. А прошлым вечером одна из учительниц оставила свою салфетку не сложенной на столе, нарушительницу вернули и под строгим взглядом стюарда заставили аккуратно свернуть ее и сунуть в кольцо. Бедняжка как раз объясняла мне — мы тут постоянно объясняем все друг другу, сколько хватает терпения, до хрипоты, что коммунизм — это *единение*, просто единение, растворение самого себя в чем-то *более великом*. Грустно, что ее наивная попытка подобного единения окончилась столь плачевно.

Зато официантам и официанткам *единение* дается легко. Чтобы убедиться в этом, достаточно невзначай пройти мимо камбуза.

— Вы заметили, — спросил Бизнесмен, когда мы встретились утром на трапе, — что с одного борта воды больше, чем с другого?

Я уставилась на него в изумлении. Он что — шутит? Не похож он на шутника.

— Заметили? — допытывался Бизнесмен.

Я призналась, что нет, и он ушел разочарованный.

Позднее он вновь подошел ко мне и пробормотал с озадаченным видом:

— Странно, но теперь воды больше с другого борта. Интересно, почему?

Он на полном серьезе заявил мне, что намеревается встретиться с капитаном и задать ему этот вопрос. Пожалуй, бедняга еще хуже подготовлен к этой поездке, чем я.

Все книги в судовом книжном магазине посвящены одной теме. Я прочла уже три жизнеописания Ленина, два тома его речей, избранные статьи Сталина и совсем сникла, будто долго-долго слушала игру на тамтамах. Может, на корабле и существует какое-нибудь противоядие от всего этого, но я не могу его найти.

Проходя мимо ряда кресел на палубе, я замечаю уже знакомые мне обложки: «Моя жизнь в колхозе», «Воспоминания о Ленине», «Нэп», «Советские фабрики», «Юные октябрята», «Работа для всех». Их прочитали девяносто девять из ста, и лишь одна я отбилась от стаи. Нет, еще Фермер-Птичник, он вообще ничего не читает. Зато он сфотографировал мертвую ласточку, упавшую на палубу неведомо откуда. Даже море кажется чужим и враждебным — не хочет, чтобы на него смотрели. Не желает пробуждать мысли и мечты.

— Соединяйтесь! — велит оно строго, обмывая борта корабля размеренными механическими движениями. — Идите и соединяйтесь![3]

— Не хотите ли прочесть вот это? — предлагает сидящий рядом со мной Первый Профессор и протягивает «Ежегодник СССР».

Кильский канал. Корабль скользит сквозь сверкающие луга, почти подступившие к бортам. Если на эти плоские земли смотреть издали, кажется, что нос корабля рассекает траву. Мы стараемся быть снисходительными друг к другу. Море заставило нас забыть наши человеческие слабости. Мы перестали разговаривать. Красный и белый лежат бок о бок, словно лев и ягненок. Вчера матрос позволил мне помочь ему красить перила, но вечером я увидела, как он крался по трапу, чтобы тайком их перекрасить...

Балтийское море полно звезд. В нос бьет дыхание Севера — снежный, манящий, резкий запах. Пора упаковывать вещи. Мои три дюжины лимонов неожиданно внесли разлад в радостные хлопоты. Вы помните, нас предупреждали в Лондоне, что русские (осенью) готовы на все ради лимонов? А когда ко мне вернулся дар речи, сообщили вдобавок, что в Советской России нет чаевых: дескать, люди по собственной воле отказываются принимать вознаграждение. Знаю, знаю. Всё за любовь. Но на всякий случай я все же взяла лимоны с собой.

Таможня. Ленинград приближается. Город плывет, словно бледная морская птица по плоскому болотистому морю. Вот и настал торжественный момент, мы причаливаем у красивого желтого здания восемнадцатого века. Никто не решается нарушить молчание. Мы безропотно подчиняемся, когда стюарды буквально ссыпают нас вместе с чемоданами вниз по сходням, и солдаты без всяких церемоний заталкивают нас на таможню. Что мы можем сказать? Они все равно не поймут наших английских

проклятий. Сотрудники ГПУ вышвырнули наши вещи из чемоданов, и нам пришлось торопливо запихивать их назад, после этого мы уже готовы поверить в то, что виновны в каком-то неведомом ужасном злодеянии. Мы преступники, и не должны забывать этого. Один солдат сгреб все мои бумаги и стал внимательно читать твое письмо, держа листок вверх ногами... Вдруг он разразился смехом, не знаю — от восхищения или презрения.

Это поразительно красивый город! Светлые изысканные дома и дворцы растут словно цветы на широких грядках улиц — по крайней мере, так чудится поначалу. Морозно-синяя, огненно-синяя Нева кажется тверже, чем воздушные мосты над ней.

Наш отель очень современный, очень уродливый, очень новый, хотя стены уже облупились. Из него вышла бы отличная тюрьма. Снаружи и внутри лютый холод, но мы напрасно мечтаем о чае. Появилась смуглая коренастая девушка, она будет присматривать за нами. Мы окружили ее, словно голодные воробьи крошку хлеба. «Ну, что бы вы хотели делать? Да? Нет? Может быть — осмотреть Петропавловскую тюрьму или Дом культуры для рабочих?» Наша: группа разразилась радостными возгласами. Дуя на руки, чтобы согреться, мы объявили, что оба варианта просто чудно хороши...

Экскурсия займет четыре часа. Ужин — в десять или десять тридцать. «Да. Нет. Надеюсь, мы успеем вернуться к этому времени». Нам осталось лишь лелеять зыбкую надежду, что так все и будет. Пусть наши мысли безрадостны — мы не показываем виду: наши лица исполнены восхищения. Мы переглядываемся:уяельзя проявлять слабость.

Итак, мы отправляемся в Дом культуры. Где нас ожидает Святая Русь...

2

Вот если бы можно было путешествовать по России в одиночку! Перспектива все время находиться в группе под присмотром гида деморализует. Пропадает всякий интерес и желание, к тому же для столь малообразованной особы, как я, постоянная культурная повинность весьма утомительна. Да еще этот нескончаемый поток статистических данных! Сколько комнат, сколько возможностей для рабочих! Дом культуры взирал на нас с изумлением. И не удивительно. Группа людей, одержимых мрачной решимостью развлекаться любой ценой, наверняка выглядела странновато.

Этот Дом культуры почти ничем не отличается от западных политехнических школ, но поскольку мы оказались в России, то увиденное не могло не потрясти нас до глубины души. Конечно, там была и комната для антирелигиозной пропаганды, где нам втолковали, что Зевс обратился в дым, а крест — в прах, это произвело на всех неизгладимое впечатление.

Больше всего нам понравился театр. Из ложи, прилепившейся высоко над огромным мрачным залом, мы наблюдали за группой рабочих, они репетировали оперный спектакль. Освещенная зелеными лучами прожекторов обнаженная сцена, казалось, была подготовлена для постановки глубоководной трагедии: темные фигуры в комбинезонах медленно плавали в водянистом мерцании, исполняя печальные морские песни. Директор, который вел наш отряд, что-то восторженно прошептал мне на ухо. Я вопрошающе посмотрела на гида, и та перевела: «Е. говорит: здесь сидеть три тысячи мест, да».

Мы простились с директором на ступенях Дома культуры, но он еще долго выкрикивал нам вслед статистические данные. Мы хранили смиренное молчание. Я чувствовала себя изгоем, выброшенным на берег на самом краю света.

Ну вот, началось единение. Унылость, всеобщая серость, совершенная одинаковость людей проникают и в нас. Мы заражаемся привычкой, которую замечаем в каждом встреченном нами русском: жить вполсилы, сберегая драгоценную энергию, и учимся терпеть, терпеть, терпеть. Нас засасывает машина, мы словно попали в зубцы гигантской шестеренки: с кошмарной регулярностью разъезжаем из крепости во дворец, из дворца на фабрику. Огромные человеческие часы мерно отсчитывают время, но, похоже, никому неизвестно, верно ли они идут.

Мы чувствуем себя потерянными, что неудивительно. Все вокруг незнакомое — даже люди, серые и едва различимые в сером северном свете, кажутся пришельцами с другой планеты. Глаз, единственный из всех органов чувств, иногда развеивает наши страхи. Дворцы восемнадцатого века уносят нас мыслями в прошлое, такое знакомое и любимое. Дуга желто-белых зданий напротив Зимнего дворца — шедевр архитектуры. Улицы расходятся от площади с почти музыкальной точностью и изяществом. Подгоняемые северным ветром, мы сбились в кучу на площади: справа — полукруг солнечно окрашенных зданий, слева исполинское чудо Зимнего дворца. Нас окружают два мира: Европа XVIII века и Россия — четкость и дисциплина на одном фланге и варварская необузданность на другом. Зимний дворец — незабываемое зрелище: буйная поросль ангелов, урн, рогов изобилия. Слава богу, никто не решился призвать их к порядку и не заставлял равняться на строгую заграничную элегантность зданий напротив. Жаль было бы потерять такой контраст! Между этими двумя крайностями распростерлась великая площадь, где произошла кровавая бойня 1905 года и бессчетное число других трагедий. Ветер с диким воем мечется меж ангелами и рогами изобилия, ударяя в желто-белые фасады. Над всем этим довлеет ощущение смерти, иностранное великолепие кажется навязанным извне, а не выросшим из этой болотистой земли. Ветер несется над мертвыми...

— Пойдемте! — торопит гид, и мы со вздохом облегчения трогаемся в путь вслед за ней.

Неловко ощущать себя туристом в столь трагическом месте.

Полагаю, у каждой религии есть свой Вифлеем. Русский вариант теперь в Смольном институте. Это заурядное название стало ныне сакраментальным. В священных стенах Смольного родилась Республика. Мы мягко ступаем по длинному коридору, следуя за нашим гидом.

Кто-то драматическим жестом распахивает перед нами дверь, и мы оказываемся в просторной комнате: ряды стульев, бесчисленные плакаты, над кафедрой — портрет Ленина в полный рост на фоне плотины гидроэлектростанции. Гид с гордостью переводит нам надпись над картиной.

— «Коммунизм — это Софеты плюс электрификация». Так сказал Ленин.

— Что это значит? — спрашивает Бизнесмен Первого Профессора.

Профессор поспешно захлопывает широко раскрытый рот, экстатический свет в его глазах гаснет. Он явно сбит с толку.

— Это значит, очевидно, это значит — ну, то, что и говорится — да, Советы плюс электрификация.

— Но...

— Пожалуй, — торопливо перебивает Первый Профессор, — нам лучше поспешить за остальными.

Перед следующей дверью гид делает нам знак и с особой торжественностью выстраивает нас в очередь.

— Это комната, где шиил Ленин, — сообщает она с неподдельным благоговением: даже необходимость постоянно повторять одни и те же объяснения непрерывно сменяющимся группам туристов не в силах умалить для нее величия этого места.

Несчастные западные туристы! Как нам выразить свое почтение и не выставить себя при этом на посмешище? Опуститься на колени? Вряд ли это уместно, да сумеем ли мы осенить себя крестным знамением? Первый и Второй Профессора решили встать на цыпочки — да так и проходили до конца экскурсии. Остальные, осматривая полуспальню-полугостиную, в которой Ленин с женой жили после провозглашения республики, старались ступать еле слышно и переговаривались шепотом. Комната производила странное впечатление. То ли из-за царившей там пустоты, то ли из-за двух узких одиноких кроватей, а возможно — из-за серого света, который, пробиваясь сквозь поникшие ветви берез, проникал через большое окно. Странно, что эмоций от вас ждут там, где все чувства намеренно подавлены рационализмом. В этой комнате царила пустота, и причиной ее было не только отсутствие хозяев. Может, и когда Ленин жил здесь, комнате все же чего-то недоставало — тепла, солнца? Гений — это свет и пыл. Обладал ли Ленин этим редким двойным огнем? Или он сгорел в яростном пламени одной-единственной идеи? Человек мысли -таким предстает Ленин на портретах и фотографиях. Единственная человеческая черта, которую можно на них различить, — это самодовольство, которое на фоне столь нечеловеческой мощи воспринимается с облегчением. Во всяком случае оно убеждает нас — хотя бы отчасти, — что Ленин был человеком, а не просто мозгом на двух ногах.

Но стылость этого места, его обнаженный рационализм! Просто не верится, что именно здесь вырвалась на волю новая мировая сила. А если и верится, то с ужасом. Неужели человечество стремится вот к этому? Зачем тогда вообще нужно человечество, если его цель — обесчеловечивание? Люди как боги? В холодном гулком воздухе эта идея кажется фантастической.

— Он устроен, да, Екатериной Феликой для школы для

дефочек из дфорянских семей... — снова пускается в объяснения гид, выводя нас из святая святых.

Теперь ее голос клокочет гневом. Новая порция фактов действует на нас ободряюще. Отрадно услышать, что эти стены помнят и что-то живое: смех, шорох платьев, перестук каблучков, пробежавших по коридорам. Интересно, чему учили этих юных дворянок? Укладывать волосы по последней парижской моде и читать по-французски и по-русски? В этой комнате овладевали сложными правилами изящной беседы, а в той -возможно, искусствами любви. Может быть, Екатерина посещала ежегодные награждения учениц и лично отбирала самых способных девиц себе во фрейлины.

Но у нашего гида нет времени задумываться о подобных пустяках. Как и надлежит подкованному пропагандисту, она сообщает нам, что предшественница Екатерины, Елизавета, оставила в наследство нации пятнадцать тысяч платьев разных фасонов и один рубль в казне.

Тсс, тсс, тсс. У нас нет слов, чтобы передать наше возмущение.

(Интересно: кому достался тот рубль?)

Сегодня мы поднялись раньше обычного, нам предстояло увидеть Летний дворец. Он производит странное впечатление — такой длинный, что кажется — простирается далеко в глубь парка, но, если посмотреть сбоку, то оказывается — в ширину он не больше одной комнаты. Полагаю, задумка была в том, чтобы показывать послам иноземных государств только длинный фасад. Наша гид с явным презрением относится как к подобным архитектурным трюкам, так и к нам, плетущимся за ней следом. Зато она не удержалась от саркастических замечаний в картинной галерее и поведала нам о вопиющих казусах, связанных с некоторыми картинами. Оказывается, позолоченные рамы были сделаны еще до прибытия шедевров, так что размеры полотен не всегда совпадали с размерами рам. Из этого затруднения нашли ловкий выход: к слишком маленьким добавляли кусочек, а от слишком больших — отрезали. По этой причине теперь можно увидеть фигуру, обрезанную слева от головы до пят, или эскадрон кавалеристов, скачущий на букет роз.

Деревья роняли на нас золотые листья, мы шли по парку к Александровскому дворцу. Профессора покорно внимали достигавшим сказочных размеров историческим домыслам нашего гида, казалось, они и впрямь, несмотря на свою ученость, верили этим россказням. Поразительное проявление доверия! Гид задавала вопросы и сама же по привычке на них отвечала, так что нам не о чем было беспокоиться.

Вопрос: Кто был царь Николай Последний?

Ответ: Царь Николай Последний был очень глупым человеком, наряжавшимся в богатые одежды.

Хор Профессоров, Учителей и пр.: Верно, верно.

В кабинете царя Николая гид, возмущенно вздернув голову, указала на ряд серебряных подков на письменном столе.

— Он был суеферный и нефезучий.

Бедняга, именно так и было. Впрочем, не удивительно: все подковы были повернуты неправильной стороной!

Исаакиевский собор превращен в антирелигиозный музей. Что ж, варварский decor отлично подходит для этой новой задачи. Директор-фанатик (каждый второй в России — директор чего-нибудь) воздвиг пирамиду доказательств того, что Бога не существует. Он демонстрировал нам орудия церковных пыток и мумифицированные тела пастухов и дровосеков — бесспорное свидетельство того, что не надо быть святым, чтобы после смерти сохраниться в отличном состоянии на многие века; а также фотографии священников, благословляющих царских военачальников, правда, мы так и не поняли, с какой целью, поскольку его английский был скорее ближе к русскому. Наконец, настал черед самого главного доказательства — свисающего из огромного купола маятника: когда тот, покачавшись с минуту, постепенно отклонился от своей оси, голос Директора сорвался на крик. Мы узнали, что Библия считала землю плоской, но Галилей, Коперник и другие ученые на основе простого опыта доказали: она круглая — ergo, Бога нет. Вряд ли можно представить себе место, более взывающее к слепой истовой вере, чем эта экспозиция. Очевидно, Советы озабочены не столько атеизмом, сколько тем, как бы, свергнув одного Бога, превознести другого — Человека — и утвердить идеальный Рай здесь и сейчас, Небеса на земле, Ленин как икона, и хор ангелов Коммунистической партии. Нет народа более исконно религиозного, чем русские, — просто ныне они обратили свою веру в новом направлении.

(Первый Профессор считает, что все гораздо сложнее.)

Нам положено путешествовать вторым классом в жестких вагонах (признаюсь: «жесткий» — слишком мягкое определение для этого), поэтому в городе мы разъезжаем на трамваях. Они всегда переполнены так, что часть пассажиров висит на подножке. Тем, кто стоит на верхней ступеньке — повезло, другим приходится цепляться за их талии, отчего кажется, будто трамвай обвешан огромными серыми виноградными гроздьями. (На самом деле все они землистого цвета — глиняные люди, только-только

сотворенные из болот и степей. Если добавить цвета в их беспросветную тусклость, мужчины, может, и были бы красивы, но женщины, коренастые и коротконогие, в большинстве своем красотой не блещут (впрочем, не мне судить).)

Зато женщины крепче и сильнее толкаются в трамваях. Они лучше для этого приспособлены. В России существует правило, что любой пассажир, даже если ему ехать всего одну остановку, должен зайти в трамвай сзади и потом продираться сквозь переполненные вагон, чтобы (если останется жив) выйти с другого конца. Женщины расчищают себе путь, отчаянно толкаясь бедрами, и море каким-то чудом расступается.

Эх, как бы прекрасно было разъезжать на дрожках! Но нам выдали всего шесть с полтиной рублей за фунт, а самая короткая поездка стоит десять рублей.

Я встретилась с Т.[4] Вчера вечером он пришел в гостиницу, забрал меня (а заодно фунтовую головку сыра и три лимона) и отвел в гости к З.[5] Вы помните его по Кембриджу? Русский антикоммунист? Т. живет у него. Комната красивая: настоящая печь, большие скрипучие стулья, мягкие от старости; на диване, обитом пестрым сатином, валяется пара ботинок; прислуга Аннушка улыбается настоящей искренней улыбкой. Вы бы видели, как я оттаяла! У меня даже уши покалывало, так радостно было вновь услышать настоящую беседу. Мужчины расположились на диване и стульях. Они смеялись! Мед, желтый и липкий, как ириска, и такой же тягучий! Вино в бутылке! Белый хлеб!

Пришел молодой поэт[6] и прочитал по-русски длинное стихотворение об Аспасии, а З. и Т. переводили его. На слух — звучит хорошо. Однако стихотворение невозможно опубликовать, потому что это не пропаганда. Какая польза от Аспасии Советскому государству? Отрубить ей голову!

Сегодня утром Т. снова явился вместе с поэтом и еще одним русским средних лет — высоким, рыжеватым, с маленькими голубыми глазками. Я вновь завела разговор, который оборвался накануне. Но поэт на этот раз держался скованно. «Это неважно. Я хотел бы писать агитационные стихи, воспевать Мировое Государство Советов». У меня глаза на лоб полезли.

— Но вы же говорили… — начала я.

— Пойдемте, осмотрим кладбище, — торопливо предложил Т. и увлек меня за собой.

Оказалось, голубоглазый — сотрудник Чека. Пока мы висели на подножке трамвая, он сообщил мне, что влюблен в английскую литературу, и несколько раз спрашивал, не знакома ли я с Мэтью Арнольдом[7]. Может, таков стандартный допрос третьей степени

в Чека? Я старалась отвечать уклончиво.

Меня завораживает архитектурная пышность заграничных кладбищ. Пер-Лашез, например, с его претенциозными и нелепыми маленькими домиками для мертвых, обладает для меня античной языческой пикантностью. Так что первое кладбище, на которое Т. и Чека привели меня, не показалось мне странным. Изрядно запущенное, с разоренными надгробиями. Чека объяснил мне, что металлические детали утащили на переплавку, а могилы разрыли воры, искавшие драгоценности и прочие сокровища. Но, несмотря на эти опустошения, место хранило исполненную покоя элегичность. Чувствовалось, что хотя бы тут все пребывают в праздности. Кладбищенский служитель (не более чем «учтивый титул») развесил сушиться между могил свои старые лохмотья, робкие солнечные лучи любовно касались этих жалких цветовых пятен. Мы брели под деревьями, с блестящих листьев падали на нас капли недавнего дождя, а под ногами мелодично шелестела густая сорная трава. Мертвые, большинство из которых лишились своих сокровищ, были теперь забыты, и никто не мешал этому буйному росту зелени. Поэт-романтик пришел бы, пожалуй, в восторг от подобного запустения; а уж какую радость доставило бы обладание подобным пейзажем помещику конца восемнадцатого века: ведь любимой забавой той поры было строительство башен-руин в парадных садах. Мы присели на ободранный памятник, освещенный желто-зелеными лучами; листья роняли нам за шиворот нежные капли дождя. Тишина окружала нас, ограждая от монотонной городской суеты.

Чека жаждал узнать все о жизни и личных предпочтениях «Джулиана» Голсуорси и был огорчен тем, что мы так мало могли ему сообщить. Когда я призналась, что мне нравится кладбище, он разволновался. Видимо, я сказала что-то не то. Ничего особенного, возразил он мне снисходительно. Вам следовало бы посмотреть *советское* кладбище. Вот это, *это*, — он не смог подобрать слов. Я должна увидеть своими глазами. Он меня проводит.

Советское кладбище (где похоронены только самые достойные) и правда — шедевр[8]. Оно расположено на территории Александро-Невского монастыря и на первый взгляд похоже на священные захоронения маори. Каждый памятник представляет земные дела усопшего. Так, памятник машинисту был увенчан тремя паровозными колесами, оплетенными цепями[9]. Над могилой летчика установили пропеллеры, а солдату досталась маленькая модель пулемета. Одно надгробие

окружало несколько рядов проволоки. Я было решила, что ее обитатель выращивал цыплят.

Монастырь, словно выгравированный солнцем на зимнем небе, смотрелся очень мило. От берез исходило слабое золотистое сияние, оно плыло над нами. Забывшись на миг, я вслух посетовала на то, что монастырские кельи превратили в квартиры. Чека тут же налетел на меня: разве рабочие не заслуживают самого лучшего? Я согласилась. Но, с другой стороны: разве не все заслуживают самого лучшего? Не только рабочие, а люди всех профессий и классов. Чтобы хватило на всех. Это и было бы истинным воплощением коммунизма. Как же я стала от постоянного снобизма по поводу рабочих — он стократ хуже, чем снобизм нашего высшего класса. Советское государство на самом деле еще более буржуазно, и деление на классы здесь куда жестче. Так что само оно именно то, что так осуждает. Мы стараемся избавиться от механизированного века, а здесь его обожествляют. Слава рабочим! Как старо это звучит: Россия, несмотря на предполагаемую новизну и оригинальность, насквозь старомодна. Она застряла в пятидесятых или, на худой конец, — в девяностых. Здесь боготворят всеобщую занятость, а мы стремимся к всеобщей беззаботности. Иначе — для чего же мы живем?

Вдоль всех улиц тянутся очереди за продуктами. Люди стоят молча и серо. Их выносливость поразительна. На лицах застыло постоянное отсутствующее выражение, словно они находятся под наркозом. Это голод? Может, они и в самом деле, как утверждают антикоммунисты, питаются лишь лозунгами и мечтами об обещанном им рае на земле?

Вчера в магазине Торгсина я повстречала одну женщину. Она выглядела серой и измученной, но в глазах ее сиял столь знакомый мне странный фанатичный блеск. Я была в Америке, рассказала она, и вернулась в Россию после Революции. Вера этой женщины в советский режим безгранична. «Мы способны вытерпеть настоящее, — заявила она с гордостью, — ради будущего». Она подробно и доброжелательно отвечала на мои испытующие вопросы. Почему она верит в то, что хорошие времена на самом деле наступят? Какие свидетельства говорят в пользу этого? Ну, таких признаков пока немного, это правда. Надо подождать. И тогда им воздастся. Невозможно, чтобы Советское государство потерпело неудачу. Они должны ждать. Да, они часто голодают и вдобавок мерзнут, но к чему жаловаться: зато у них есть работа! А много ли стран в мире могут этим гордиться?

Женщина уверенно повторяла лозунг за лозунгом. Я уже научилась их узнавать. Самый главный — «У нас есть работа». Работа! Мы на Западе считаем, что тепло и пища — воздаяние за труд, а здесь труд заменяет и то, и другое. Я начинаю понимать почему. В России иметь работу, рабочее место — это признак социальной значимости. Служить Государству — высочайшая моральная доблесть, Государство прекрасно сознает это и использует с максимальной для себя выгодой. Наверное, ранние христиане чувствовали во времена гонений то же самое. Убеждение в истинности своей веры насыщало их желудки, а согревало пламя, горевшее в их сердцах. Разница и в самом деле невелика. Новая Россия исповедует ту же доктрину лишений. Тем временем мир изнывает от изобилия. Зачем нам отказываться от еды? Страна, которая первой села за пиршественный стол, будет руководить миром.

Сегодня гид рассказала мне, как одна туристка в конце поездки захотела подарить ей пару теплых чулок. «Представляете! Какое оскорбление!» При этом девушка была так скудно и не по погоде одета! Но эти люди готовы терпеть всё.

Уж не гордыня ли это? Какая разница! Мне эта девушка понравилась. Пусть она и путается в исторических фактах — зато как она нас ненавидит! И поделом.

З. сообщил мне, что рождаемость в стране повысилась настолько, что через пятьдесят лет их станет 800 миллионов. 800 миллирнов рабочих. О, лилии полевые![10]

3

Сегодня — Петропавловская крепость. По сравнению с Домом культуры здесь кажется куда как удобнее. Просторные комнаты, окна и толстые стены, которые наверняка отдавались гулким эхом, когда политические заключенные выстукивали друг другу свои биографии. Восковые фигуры заключенных и охранников — не хуже, чем у мадам Тюссо, так что не надо напрягать воображение, чтобы представить себе, как все тут было на самом деле.

В маленькой церкви во дворе[11] находятся гробницы царей — все одинаковые, похожие на огромные пресс-папье. Вопросы и ответы гида на этот раз были еще более обстоятельными.

Вопрос: Что такое надгробие?

Мы, как положено, озадаченно переглядываемся. Что же это было такое?

Гид нам объяснила.

(Конечно, я сужу предвзято: как-никак уже конец сезона, и экскурсоводы, поди, совершенно выбились из сил, все лето растолковывая туристам одно и то же.)

Подробно изложив нам обстоятельства смерти царя Николая, последнего из своего рода, девушка строго добавляет: «Если фам скажут, что они фее еще шифы, мы гофорить фам: их сошгли». Finis.

Я поняла, почему Р. предлагал мне взять с собой пробки для ванной: несколько штук покрупнее. Его совет показался мне тогда странным, но я все же припасла парочку. И рада, что послушалась: без них не смогла бы принимать ванну. В России явные трудности с производством этих пробок. Может быть, они закупали ванны за рубежом, а западные поставщики отнеслись к заказу невнимательно и забыли про пробки. Или же русские сами не очень любят воду, вот и решили, что и на Западе люди просто сидят под краном, позволяя горячей или холодной воде литься тонкой струйкой и тут же стекать в слив.

Чтобы как следует познакомиться с моей ванной, вам придется сначала пройти через спальню. Видимо, так устроено специально, чтобы угодить капризам любого постояльца. Кровать стоит в нише, отгороженная занавеской, а остальная часть комнаты — что-то вроде кабинета. Большой письменный стол якобы под орех, наподобие тех, что бывают у финансовых воротил в американских фильмах, вращающееся кресло, в котором я от нечего делать могла бы крутиться, наводя

страх на робких просителей, два обычных стула (наверняка для этих самых просителей) и маленькое деревянное бюро для счетов и писем. В противоположном углу, который явно призван служить приемной в моей конторе, стоит одно-единственное; невероятно прочное кресло. Очевидно, предполагается, что, раз кресло всего одно, мои посетители не должны садиться, или, возможно, стоять предназначено мне.

Но вот ванная — это *piece de resistance*[12]. Ее роскошная красно-коричневая унылость, как веснушками, покрыта пятнами сырости, и вообще атмосфера там какая-то дождливая — не могу объяснить почему: ведь вода в кранах появляется лишь изредка, короткими урывками. Горничная, больше похожая на санитарку в клинике для душевнобольных (на что, впрочем, есть свои резоны: мы все тут немного не в себе), пришла в ужас, когда я высказала желание принять горячую ванну. Она сообщила мне, что из-за нехватки топлива для печей горячую воду подают лишь два раза в неделю. Смущенная собственной дерзостью, я поспешила извиниться и осторожно осведомилась, нельзя ли пустить из крана холодную воду, хотя бы тонкой струйкой? Позвякивая ключами, горничная, прежде чем удалиться, всем своим видом дала мне понять, что об этом не стоит даже заикаться. Однако портье, предпринявший доблестную попытку починить электричество (ванная комната с момента моего заселения пребывала в кромешной темноте и ночью, и днем), обнадежил меня: холодная вода, возможно, появится к вечеру. Так что я на всякий случай держу наготове мою пробку.

Скорей бы уже уехать из Ленинграда! Несмотря на красоту, здесь какая-то мертвящая атмосфера. Великолепие восемнадцатого века представляется странным, неуместным наростом, возведенным на болоте. Город построен из костей. Помните, как М. описывал нам Невский проспект? Ныне это проспект 25 Октября, и здесь ничего не осталось от прежнего величия. Темные убогие лавчонки, со скудным выбором меховых шапок в витринах, или просто украшенные статуями Ленина и плакатами, — вот что заполняет теперь эти роскошные особняки. Торгсин — единственный магазин, в который нам разрешено заглядывать, наполнен обычной туристической безвкусицей: русскими шалями, сотканными, скорее всего, в Бирмингеме, корявыми безногими деревянными фигурками, какие можно увидеть в любой кустарной лавке в Лондоне, а рядом, конечно, «новое советское искусство» — шкатулки, фарфор, медальоны с изображениями тракторов, лебедок и кранов. В магазинах Торгсина принимают («берут», пожалуй, ближе к истине) английские фунты. Если вы признаете русские правила обмена

валюты единственно верными и священными (именно так поступают наши Профессора) и не станете протестовать, вам обменяют здесь фунты на доллары или гульдены, пфеннинги или ракушки каури.

Наша закалка продолжается. Мы постепенно привыкаем к ограничениям и учимся жить вполсилы. Но все-таки явно сдаем, хотя сами себе в этом не признаемся. От нашей прежней живости не осталось и следа. Если раньше мы ходили бодрым шагом, то теперь еле-еле плетемся. Легкая танцующая походка уступила место тяжелому шарканью. Я не говорю, что мы пали духом, но жизнь в постоянном напряжении все-таки сказывается и на нас. Светлое время суток коротко, но дни все равно тянутся долго и похожи один на другой. В восемь тридцать мы встречаемся за длинным столом, греем руки о чайники и беседуем с той наигранной бодростью, которая отличает как случайных попутчиков, так и тех, кто привык проводить утро в молчании.

В первый день, когда я спустилась на завтрак, все были уже в сборе. Я заметила, что мои спутники очень бледны.

— Что случилось? — не удержавшись, спросила я, хотя, возможно, это прозвучало бестактно.

С преувеличенной бодростью они заверили меня, что ничего особенного не произошло. Разве может что-нибудь стрястись в Советской России! Но стоило мне сесть за стол, я догадалась, в чем дело. Отодвинув предназначавшиеся мне четыре яйца (в нынешних обстоятельствах они могут себе позволить не скупиться на яйца[13]), я предпочла позавтракать бутербродом с сыром и неизменным *чаем* — хотя чаем *это* можно назвать лишь из вежливости.

Каждое утро повторяется одно и то же. Кто-нибудь — в надежде на лучшее — отваживается разбить свое яйцо, а мы все стараемся смотреть в другую сторону. Но сыр удивительно питательный — или достаточно питательный, по крайней мере его хватает, чтобы насытить ту малую часть нашего организма, которая еще нуждается в пище.

Но все же питаться необходимо, ведь нам нужны силы для осмотра достопримечательностей, который начинается сразу после завтрака и продолжается до четырех, а то и полпятого вечера. Потом мы уныло плетемся в отель на обед: суп, котлеты, картошка и водянистое мороженое — вот наше постоянное меню. Но и оно — королевское пиршество в сравнении с рационом обыкновенных русских, так что мы стараемся проявлять стойкость и не смеем произнести ни единой жалобы. Однажды, когда кто-то, забывшись, высокомерно потребовал масла, вся группа

выказала ему столь гневное осуждение, что нашей страстности хватило бы на основание новой религии. Однако вы далеко, и вам я могу признаться, что частенько мечтаю: вот бы иметь луженый желудок, или пусть для меня, как для автомобилей Форда, выпускают запасные детали.

После обеда нам позволяют отдохнуть минут пятнадцать, а порой даже полчаса. Потом мы вновь отправляемся в путь и возвращаемся в отель только к полночному ужину: что-то вроде рыбы и, *mirabile dictu*[14], горячие булочки с крестом на корочке! Так что у нас каждый вечер — как бы утро Великой Пятницы[15].

Некоторые женщины, члены партии, наученные опытом предыдущих поездок в Россию, по утрам заваривают чай в термосах и берут их вместе с плитками шоколада, чтобы потчевать нас в течение дня, — без этого мы бы просто не смогли продолжать наше путешествие. Однако презрение, с которым смотрят на нас гиды, когда наши спасительницы робко достают свои запасы, заставляет стынуть буржуазное варево, превращает шоколад в горечь и враз умеряет аппетит. Как бы нам хотелось спрятаться в укромном местечке от этих взглядов и мирно вкусить подбадривающего напитка, но в России нет укромных местечек. Так что приходится выбирать: либо подкрепляйся прилюдно во время короткой остановки на маневре, либо падай в походе в голодный обморок. Наши железно-стойкие гиды, конечно, не позволяют себе подобных слабостей. Пожалуй, если придется выбирать, я предпочту обморок — это во сто крат достойнее. Конечно, даже в этом случае не стоит рассчитывать на сочувствие — в России заблудших овец втаптывают в грязь. Слабым утешением может служить лишь то, что презрение русских будет обращено на ваши физические недостатки, а не на ваши принципы.

Принципы — вот это слово! Оно звенит в ушах каждую минуту. Без принципов вы в России все равно что покойник. Зато, усвоив советские принципы, можете быть сколь угодно беспринципны. Я так устала от этого слова, хорошо, что не прихватила с собой револьвер...

Сегодня З. водил меня смотреть Рембрандта в Эрмитаж, наполовину освещенный дневным светом, наполовину электрическим. Я увидела старшего брата мальчика из Дублинской Национальной галереи, а возможно, это был он сам, только постарше: изгиб губ тверже, взгляд серьезнее и значительнее. Вот чего не хватает в России — личного во взгляде! Повсюду тут встречаешь лица застывшие и невыразительные, а глаза стеклянные и пустые. И опасные тоже: под влиянием настроения — жестокого или фанатичного — они способны на

что угодно. Как хочется видеть личности, а не личины — эти многократно тиражированные советские маски!

В день нашего отъезда из Ленинграда пошел снег. Провожая меня, Т. сунул мне в руку маленький мокрый комок. Развернув его, я обнаружила двести рублей. Я сразу представила, что держу на ладони дрожки и свежие овощи, но все же, пусть и не вполне искренне, попыталась вернуть деньги. Однако Т. беспечно возразил, что для него это лишь два фунта, ведь он живет и зарабатывает в России. Когда же я за два рубля купила на одной из станций горячий кофе, мои попутчики уставились на меня в ужасе: шесть шиллингов — за чашку кофе! Мнфтак хотелось сказать им, что это всего четыре пенса (да-да, такая относительность возможна в этом обмене по-эйнштейновски), но я обещала Т. ничего никому не рассказывать. Приняв его дар, я оказалась участницей черного рынка: мы с ним обманули *правительство*. Какое замечательное, почти священное чувство! Это событие подняло меня в глазах остальных. Парадокс — по чести они должны были бы презирать меня: она позволяет себе выбрасывать по шесть шиллингов на кофе! На гильотину ее! Но нет, они даже помогли мне нести чемодан.

Мы провели ночь в поезде Ленинград — Москва вместе с горсткой товарищей и двумя десятками солдат. Нас растолкали по .деревянным полкам, словно банки с вареньем. (Разумеется, каждому досталась своя отдельная полка.) Лишь один солдат, то распевая, то кашляя, вышагивал по вагону всю ночь. (Первый Профессор настоял на том, чтобы я позволила ему щедро посыпать себя ужасным порошком под названием «Смерть насекомым». «Меня предупреждали, — прошептал он зловеще, — что в России...» И направился к одному из Школьных Учителей, чтобы поперчить и его.)

И вот, наконец, наступило утро. Сквозь легкую дымку (двойные окна намертво закрыты) мы различили солдат, приближавшихся к нам в сопровождении переводчика. Оказалось, они хотят расспросить нас о Британии. Собираемся ли мы убить короля? Большая ли у нас армия? Правда ли, что наши солдаты (если у нас есть армия) каждый день едят мясо? Верно ли, что 95% жителей Британских островов за коммунистов? Тогда *почему бы* и нам не убить короля? Переводчица сидела между нами и, словно флюгер, обдуваемый попеременно красным й бледно-розовым ветрами (поскольку наши Профессора, мне кажется, уже начинают выцветать), твердила свое неизменное «да-да», словно бубнила колыбельную.

Мимо, миля за милей, проплывал бескрайний плоский

пейзаж — мокрые сосны и березы. Природа *ad lib*[16]. Никаких пределов, никаких различий. Страна кажется сделанной наполовину, и, как и люди, — явно продукт массового производства. Почудилось, будто кто-то прошептал мне на ухо: «Так много берез, сосен, травы, так много коричневого». Нет-нет, конечно, нет! Эти их Директора совсем сбили меня с толку.

Священная Москва! Как она кипит и пузырится — в солнечных,лучах луковицы-купола переливаются всеми цветами радуги, а ночью кажутся бледными светящимися сферами на фоне звездного неба! Этот поразительный город похож на гигантские кинодекорации. Трудно привыкнуть к его азиатской тяге к окружности. В Ленинграде я этого почти не замечала, но здесь стремление России на Восток становится явным. Это движение в обратном направлении, против часовой стрелки, вопреки всем резонам — ведь весь остальной мир уверенно шагает на Запад.

Люди по-прежнему однообразно-серы, краски по-прежнему можно найти лишь в церквях и на башнях, но Москва все же выглядит поживее, чем Ленинград, и трудовой энтузиазм здесь заметнее. У нас сменился гид. Новенькая — крупная блондинка — не столь грозна, как ее предшественница. Но и она муштрует нас с решительностью сержант-майора. Ее «Пойдемте!» всего лишь другой вариант команды «Живо, марш, эй, ты там, не отставай!».

Нас не пускают в Кремль. Там сидят ОНИ — вот в чем причина. Но ведь Кремль такой огромный! Почему бы ИМ не занять одну часть и позволить нам осмотреть другую? Нет, ОНИ — повсюду. Обсуждают, поди, советскую пропаганду за рубежом, так что возгласы туристов не должны им мешать. Мы обречены бродить вдоль красных зубчатых стен — какой суровый приговор! Впрочем, Москва вообще суровая: ее форма и цвет, то, как она разлеглась у темной реки и взбирается на Кремлевский холм. Громкий бесцветный голос гида только усиливает это впечатление. «Вот здесь царь Иван убил своего сына. Это Лобное место — людей приковывали цепью к этому кольцу. Да. Пойдемте дальше». (Профессор, вы, кажется, сбились с шага! — Нет-нет, — отвечает он, — это *вы* идете не в ногу.)

В церкви нас тоже не пускают, мы можем лишь снаружи любоваться их сверкающими куполами-луковицами. Нам постоянно твердят, что церкви закрыты или превращены в спортивные залы. Вчера, пока гид растолковывала Фермеру-

Птичнику какой-то исторический сюжет, я все же прокралась за ее спиной и прошмыгнула в мозаичную дверь в освещенный свечами полумрак. Шла служба, церковь была полна народу. Какой-то силуэт отделился от толпы и, словно призрак, направился ко мне. На женщине была обычная не поддающаяся описанию одежда, ноги обмотаны тряпьем, чтобы удержать остатки туфель. Она испуганно и торопливо заговорила со мной по-французски. У меня сжалось сердце! Я протянула ей несколько рублей, она поспешно спрятала их под лохмотьями и снова упала на колени. Хорошо, что у меня нашлось, что ей дать, — этот вечный высокомерный отказ принять хоть что-то иссушает душу. «О, мы поглотили их!» — беззаботно ответила гид, когда я спросила ее, что же произошло со старыми русскими. Что ж, полагаю, «поглотили» такое же подходящее слово, как и любое другое.

Ликвидация церквей в России — одна из первейших задач приверженцев советской веры. Наш интерес к этим буржуазным реликвиям вызывает у гидов явную досаду. Они не устают поносить все церковное и постоянно твердят о тлетворном влиянии религии. Неоднократно с плохо скрываемым торжеством нам указывали на полуразрушенные церкви, а также, я полагаю, намеренно, демонстрировали церкви, переделанные в конторы, клубы и спортивные залы. Интерес к церкви — даже чисто архитектурный — подвергается осуждению как пережиток идеологии царизма и пресекается самым решительным образом.

Однако у Бизнесмена обнаружился особый талант: ему удается находить церкви, сохранившие свое изначальное предназначение. Я узнала, что он ревностный прихожанин и каждое воскресенье обходит собравшихся в церкви с блюдом для пожертвований. Поначалу Бизнесмен сообщал о своих находках гидам — не столько для того, чтобы поставить их в известность, сколько, полагаю, чтобы самому пережить момент торжества. Хотя его находки и уличают гида во лжи, все же мы указали ему на бестактность подобного поведения. Теперь, чтобы известить нас о новом открытии, Бизнесмен молча подает нам знак, впрочем, и это он делает с таким энтузиазмом, что гид сразу догадывается, о чем речь.

— Маленькая часовня! — сообщает Бизнесмен громким шепотом, тяжело дыша соседу в ухо. -Прямо по улице — множество икон, два священника ведут службу, полно народу. Вы должны посмотреть!

Ну и, ясное дело, гиды берут на заметку, что надо донести об этом на ближайшем собрании Чека.

В прошлое воскресенье Бизнесмен явился на обед, расточая

улыбки направо и налево, его секрет так и рвался наружу.

— Еще одна? — поинтересовалась я. Он кивнул.

— Но на этот раз не русская, а настоящая лютеранская. И *такая* замечательная служба!

Наше знакомство с Россией идет по странному расписанию. Первая остановка на сегодня -детские ясли. Профессора с привычным теперь застывшим выражением интереса на лицах маршировали по двое. В вестибюле нас заставили надеть белые халаты, все они оказались одного размера. При этом нам не позволили снять пальто — можете представить, как мы выглядели!

Облаченные подобным образом, мы проследовали через несколько детских комнат. Я с радостью отметила, что увиденное смутило даже Профессоров. В комнате для двухлеток несколько маленьких старичков сидели за столом и старались не пролить кашу на свои передники. Они выглядели серьезными и угрюмыми, словно понимали смысл плаката, протянутого через всю комнату. Гид перевела его для нас. «Игра — не забава, а подготовка к труду». Так-то, детки!

На одной стене висел портрет — ангельского вида мальчик в шелковой рубашечке с рюшами и синих бархатных штанишках. Заметив, что я приподняла брови, переводчица с восторгом пояснила: «Это Ленин, когда он был ма-а-алень-ким». Старички, оторвав взгляд от тарелок, мрачно покосились на портрет, их ложки застыли в воздухе. Так начинается обожествление.

Ясли отнюдь не блистали чистотой, и я невольно задавалась вопросом: зачем нам выдали халаты — чтобы защитить детей от нас или нас от детей? Полагаю, скорее последнее.

Кто такой Василий Блаженный? В его честь воздвигнут собор, возвышающийся на Красной площади. Не могу назвать его образцом дурного вкуса, на мой взгляд, вкус тут отсутствует начисто — нагромождение одного архитектурного кошмара на другой. Весьма удачно, что именно его превратили в антирелигиозный музей. Так же как и Исаакиевский собор. Здесь нет маятника, зато есть плакат, которому Святой Исаак наверняка позавидовал бы. Я обнаружила его в одной из малых часовен: довольно безвкусная, вычурная советская версия святого Георгия, убивающего дракона.

Внизу — представители пролетариата сжаты в кольцах огромного чудовища, изрыгающего пламя и наделенного железными когтями. Чуть повыше — дьяволы в цилиндрах (явно буржуи) подливают масло в огонь и копьями и трезубцами

подталкивают пролетариев в объятия чудовища. Но помощь близка. Вот и освободитель! Он изображен на фоне ярко-синего неба, в ореоле героя, а за ним следует святое воинство. Голова в ореоле принадлежит Ленину, не составляет труда разглядеть и его соратников: Сталин, Калинин, Молотов и др. Не удивительно, что Белая армия, изображенная в правом углу, удирает во всю прыть. Сие произведение сродни ранней живописи — не столько по художественным достоинствам, сколько по способности вызывать сильные чувства. Вынуждена признать: картина заставила меня поверить в правоту Первого Профессора: возможно, мы и правда имеем дело с новой религией. Очень неприятная мысль!

Т. спросил меня в письме, согласна ли я поехать с ним и З. в Новгород на Украине[17], но, сколько я ни умоляла и.ни улещала, «Интурист» мне этого не позволил. Мой маршрут — Ленинград, Москва, Нижний Новгород и Волга — не может быть изменен. Почему? Причину мне не объяснили — нет, и все. Но ведь мне даже не понадобится переводчик: я буду с Т. и З., а они оба говорят по-русски и смогут позаботиться обо мне? Нет. Бесполезно. На все один^гтвет — отказ. Это тюрьма! Россия — сплошное отрицание. Попроси — и тебе откажут.

Да, все ваши письма ко мне были вскрыты. Я этого не вынесу. (Понимаю, что придется, но от этого ничуть не легче. И все же я убеждена, что неограниченная свобода личности так же плоха, как отсутствие свободы вообще. Однако храню эти мысли при себе. Сердцем и разумом я твердо за свободу личности. Возможно, эти банальные мысли — результат моих постоянных споров с Профессорами: я так устала быть реакционной и перечить им во всем!)

4

Самое счастливое место, которое я видела в России, — это московская тюрьма. Нет, правда. Живи я в России, меня туда бы как магнитом тянуло. Мы оказались там в воскресенье или, точнее — на пятый день недели, что одно и тоже (в этой стране Бог отдыхал на пятый день), поэтому никто не работал[18]. Само по себе это приятно и непривычно. После получасового статистического отчета: «От пяти до десяти лет за убийство; на время уборки урожая заключенных выпускают из тюрьмы под честное слово; в России преступность ниже, чем где-либо в мире, и т.д.» — директор пустил нас к заключенным. Никто из них, похоже, не был заперт, одни лежали на койках (в четыре яруса под самый потолок, как в кубрике на корабле, стены украшены вырезками из газет и неизменными портретами Ленина и Сталина), другие расхаживали туда-сюда, не выпуская из рук свои матрасы, а некоторые вообще били баклуши. Несмотря на грязь и невзрачность обстановки, лица заключенных сияли радостью. А почему бы и нет? Антиобщественный поступок, который привел их за решетку, стал для них глотком свободы, позволив вырваться из общей массы. Проявление индивидуальной воли, видимо, воспринимается в России так же, как приступ запоя на Западе: это огонь, который очищает.

Мои соотечественники — те, кто жаждет крови, — наверняка станут твердить: «Они показывали вам только самое лучшее!» Но вряд ли эту тюрьму можно назвать образцовой, и поразила меня не она, а люди, которых я там увидела. Право слово, даже Советское государство не может заставить шайку людей всех сословий и рангов изображать неподдельное счастье перед случайно забредшими к ним туристами.

Да и обувную фабрику трудно назвать образцовой в западном понимании, и ясли тоже. Фабрики, ясли, тюрьмы — не кажется ли вам, что это похоже на безумный ночной кошмар? Ни одному из нас, будь мы на Западе, и в голову не пришло бы перешагнуть порог подобных заведений (разве только нас принудили бы к этому силой), а здесь мы с серьезным видом идем туда, куда нас ведут, и разглядываем башмаки, младенцев и преступников с таким почтением, словно они — щепки Святого Креста. Мы явно прониклись культом России.

После тюрьмы мы неизбежно должны были посетить и суд. Продемонстрировав нам преступников, так сказать, в полной красе, «Интурист» решил, что просто обязан показать нам, откуда

же они берутся. Мы сунули блокноты в карманы и снова отправились в путь.

— Русская судебная система — лучшая в мире, — заявил Первый Профессор, когда мы вошли в слабо освещенную комнату, где стояло несколько скамей и кафедра.

Едва мы успели рассесться («Не могли бы вы немного подвинуться, Профессор, я на самом краю!»), как вошел сурового вида моложавый мужчина, а следом — две молодые женщины, выражения лиц которых, по сравнению с миной их спутника, казались просто ангельскими.

Потом появились истец и ответчик. Первый — высохший старичок с колючим сероватым птичьим лицом, повязанным несвежим белым платком. Второй — голубоглазый молодой великан -заполнил почти всю комнату, казалось, стены дрогнули от его размеров и при первом же движении готовы расступиться, чтобы выпустить его на волю. Верзила, свирепый на вид, но явно глуповатый, застыл на месте, сжимая и разжимая за спиной кулаки.

Сразу стало ясно, что произошло: старичок, поди, попал великану под горячую руку и тот ему врезал разок, а может, и пару раз.

Мужчина за кафедрой, очевидно судья, начал задавать вопросы истцу, и тот принялся изливать свои обиды, стараясь не смотреть на детину, стоявшего с ним рядом. При этом бедняга всем телом обратился в сторону кафедры, словно искал защиты от насильника. Молодые женщины взирали на обоих с одинаковой строгостью.

— Е. гофорит, — прошептала переводчица сидевшему с краю туристу, — что парень напился фодки и поколотил его.

— Е. говорит, что парень... — пролетел шепот по ряду. Известие торопливо заносится во все блокноты.

Потом дали слово ответчику. От его громогласной речи задрожали стены. И истец тоже. Переводчица снова зашептала что-то, пояснение потекло по ряду и наконец долетело до меня, сидевшей на самом краю. Второй Профессор шепнул его мне так поспешно (поскольку сам боялся что-нибудь пропустить), что я разобрала лишь одно слово. Но услышанное как-то не вязалось с происходящим.

— Плита? Вы сказали «плита»? — прошептала я ему в ухо.

— Флейта!

— Какая флейта?

— Тс-с! — шикнул Второй Профессор. — Я же ясно сказал: он играл на флейте.

— Кто?

Моя непонятливость явно раздражала Профессора.

— Старик! — рявкнул он, забыв о том, что мы в суде.

— А-а-а, понимаю. Спасибо!

С самого начала я сочувствовала великану, а теперь моя симпатия стала еще больше. Не удивительно, что он «поколотил» старикашку. Представьте: бедолаге, поди, годами приходилось слушать эту флейту, но все это время он сдерживался и не давал волю кулакам. Одна и та же мелодия снова и снова — а может и не мелодия, а всего пара нот. И вот наконец ему улыбнулась удача: он оказался в первых рядах в очереди за водкой. Схватил свою бутылку и направился домой, чтобы тихо-мирно выпить ее — всю до капли. Ну, а уж потом ему, ясное дело, захотелось избавить мир от всяких мерзостей, вот он и начал (и, увы, закончил) с этого флейтиста. Это был альтруистический поступок, на который способен лишь истинный великан. Я не сомневалась: его просто обязаны отпустить на поруки.

Судьи начали совещаться. Они были неумолимы.

— Это, — услыхала я голос переводчицы, — тофарищи ответчика, они работают фместе на зафоде и будут судить его. Рабочие судят рабочего. Фот так.

Именно так. Приговор крупными буквами был написан на лицах этих судей. Один из них начал читать заключение. Когда он закончил, повисла короткая пауза. Великан страшно сжал свои кулачищи и покорно вышел из зала, возмущенный, но безропотный. Истец засеменил за ним на почтительном расстоянии, он как-то еще больше постарел и не выражал особой радости.

— Что произошло?

Мы окружили гида и взяли карандаши на изготовку.

— Е., молодой отфетчик, был признан финофным. Ему придется отсидеть месяц ф тюрьме, а потом ф течение года фыплачифать полофина зарплаты ф партийную казну. Пойдемте.

Ого! Так вот значит, откуда берутся партийные средства! Какое непомерное наказание за мгновения чистой радости!

— Вы уверены, что она сказала «половина заработка в течение года»? — переспросила я Первого Профессора.

Он молча протянул мне блокнот, куда аккуратно записал все обстоятельства дела.

Мы пустились в обратный путь. Солнце играло на камнях мостовой. Первый Профессор, нежась в его лучах, забыл сцену в суде. И тут я, застав его врасплох, спросила:

— Скажите, Профессор, а какой приговор вынесли бы вам на Западе, если бы вы поставили мне синяк, а я подала жалобу в суд?

— Ну, дней десять или штраф в пару фунтов, -начал он беззаботно, но перехватив мой взгляд, быстро поправился, — а возможно, и — э-э-э — больше. Право слово, не знаю. Бывают разные обстоятельства, понимаете... судебная система не одна и та же... невозможно сказать... совершенно невозможно...

— Понятно, — кивнула я.

И Профессор понял, что я поняла.

Сегодня я встретилась с В., вместе с еще одной девушкой она живет в отгороженном занавеской конце коридора, спит на полу и носит воду из дома напротив. При этом не просто счастлива, а в восторге от подобной жизни. Как же *так*? Неужели она рада тому, что растворилась в потоке новой доблестной жизни? Или ей так только *кажется*, из-за всех этих плакатов, развевающихся в воздухе? Впрочем — всё едино.

Мы явно начинаем сдавать и уже готовы вспыхнуть по любому поводу. Меня по-прежнему считают отщепенкой, не соблюдающей приличия. Сегодня по дороге в гостиницу Третий Профессор вдруг вскочил с места в омнибусе и завопил: «Я не могу сдержать радости! Не могу молчать! Мне хочется влезть на крышу и запеть: «О, страна надежды и славы[19]»! Видели бы вы, какой ужас отразился на их лицах во время этой выходки и какое мрачное торжество блеснуло в моих глазах! Двое наших спутников усадили Третьего Профессора на место, бормоча, что надо держать себя в руках (ради чести полка, я полагаю), а затем принесли мне извинения, сказав, что бедняга, видимо, выпил лишнего. Инцидент был исчерпан, но небольшая трещинка все же осталась. Теперь всякий раз, когда я оказываюсь поблизости, Третий Профессор отворачивается и делает вид, будто заметил что-то интересное на другом конце улицы.

Однако со стороны кажется, что наше погружение в реальность идет своим чередом. Чтобы не выделяться из общей массы, мы педантично зовем друг друга «товарищ». Это слово здесь слышишь повсюду — на улицах, в разговорах. Оно заменило прежних «папашу» и «братишку». Но Россия еще не изжила влияние Достоевского: исступленное сострадание сочетается здесь с бессмысленной жестокостью. На днях я стала свидетельницей того, Как двое мужчин, привычно ругавшихся на улице, вдруг наскочили друг на дружку, один из них повалил противника и ногой пнул лицом в грязь. Папаша, братишка, возлюбите друг друга! Я убил Ивана за то, что он украл мой перочинный ножик.

Сегодня мы посетили Кремлевскую Гробницу, так до сих пор

называет ее Бизнесмен. Это здание находится у стен Кремля посредине Красной площади, отличающейся великолепными пропорциями. Гробница построена из оникса (так мне показалось) и красного гранита. Как и большинство современных российских памятников, она кажется тяжеловесной и похожа на гигантское пресс-папье. Весь день перед ней толпится очередь: люди медленно — шажок за шажком — движутся к входу, который охраняют солдаты.

Вместе с гидом мы пристроились в хвосте очереди; замотанные в платки люди держались необыкновенно тихо: не просто не разговаривали, но были исполнены какого-то внутреннего молчания. Постояв рядом с ними, вы начинаете понимать, какого мистического смысла исполнено для них это посещение, и почти готовы разделить их чувства. Вам тоже хочется испытать восхищенный трепет перед этим умершим, но живым божеством.

От входа вниз ведут ступени, освещенные рассеянным красноватым электрическим светом. Лестница, немного попетляв, приводит вас в темный красный склеп. Здесь сделано все возможное для достижения максимального драматического эффекта. Толпа в молчании проходит мимо неподвижной маленькой фигурки, лежащей на красных подушках под стеклянным саркофагом. Жалкое зрелище вызывает сострадание: бренное тело, сохраняемое вопреки воле покойного и вопреки всем законам. Это не смерть, ведь смерть — быстрая и немедленная. Это — ничто. Безоговорочный материализм Советского государства достиг здесь своего абсолюта. Подобная пустота не способна вызвать никаких чувств — разве что гнев на тех, кто обманом лишил тело великого человека возможности быть преданным земле и превратил его в фетиш, на который глазеют туристы и молятся крестьяне. Какой-то солдат осторожно взял меня за руку, чтобы помочь подняться по темным ступеням, его голос прозвучал взволнованно и искренне: в этой обители фальшивой героики и поддельной смерти пульсировала и текла жизнь — невероятно!

— Весьма волнующе! *Весьма*! — пробормотал Второй Профессор и кинул в мою сторону предостерегающий взгляд, словно опасался, что я не смогу удержаться от комментариев.

Но я промолчала.

Вы правильно поступили, дав мне то письмо для киностудии. Это было потрясающе! Мои чувства избиты в кровь (если такое возможно себе представить). Письмо позволило мне встретиться с чрезвычайно необычным молодым человеком из Бирмингема. Он

сделался таким *больши*, что кажется чересчур красным даже большевикам, и они пытаются его остудить. Нетрудно догадаться, что он тоже директор — режиссер. Нынче вечером он оказал мне любезность и показал несколько черновых сцен из своего нового фильма о Магнитогорске. Он рассказывал о своей работе с таким яростным возбуждением, что слов было почти не разобрать, но я все же поняла: речь идет о каком-то огромном заводе -мир будет потрясен, когда узнает о нем[20]. Задача фильма — поведать всем об этой стройке. Звуковые эффекты пока еще не смонтированы, но режиссер уже припас для озвучания огромный медный барабан, деревянную трещотку, большой церковный колокол, автомобильную сирену и свой могучий голос в придачу. Главные герои фильма — молодые русские, их называют комсомольцами, они с откровенной злобой вытесняют друг дружку с работы, чтобы все сделать в одиночку. Я понимаю: это звучит невероятно, но это и *было невероятно*. А потом еще «кулаки».

— Это классовые враги! — прокричал режиссер и победно прогудел автомобильной сиреной. — Они хотели из мести поджечь завод. Смотри, настоящий пожар! Это моя работа!

Комсомольцы, если судить по тому, с какой энергией они били в колокол (режиссер ловко отбивал такт у моего правого уха), раскрыли козни классового врага. А заодно расправились и с их детьми (жалобный плач сливался с воем сирены). Потом они с оглушительным грохотом вновь взялись за классовую борьбу.

— Вся Россия смотрит на них, и они это знают! — выкрикнул режиссер и несколько раз пнул медный барабан. — Понятно? — поинтересовался он.

Я смогла лишь кивнуть. Ясное дело, понятно.

— Потрясающе, правда? — проорал он.

И знаете, так оно и было — но по совершенно иной причине. Потрясающе — еще как! Катарсис наступил, когда тысячи (по крайней мере так мне показалось) комсомольцев, ликуя, захватили завод (медный барабан, церковный колокол, сирена, трещотка и громкие пояснения режиссера) и снова принялись за работу. И вот — последняя сцена: девушки-комсомолки с натугой толкают огромные вагонетки с углем (или железом, а может, свинцом) вверх по наклонному скату — неужели это аллегория пути в рай?

— Равноправие полов в России! Триумф женщины! — осипшим и теперь шуршащим, как бумага, голосом победно подытожил режиссер.

Воцарилась тишина. Мы оба были настолько потрясены, что не решались заговорить. Наконец режиссер спросил меня, производит ли картина впечатление, и я признала, что — да...

Киностудия находилась в нескольких милях от Москвы. Заперев за нами дверь, режиссер указал мне на слабое мерцание на горизонте: «Вон ваш трамвай». Я поняла, что он не снизойдет до буржуазных предрассудков и не подумает проводить меня до дома. Так и вышло. Не успела я и рта раскрыть, как он, по-комсомольски энергичной походкой, быстрыми шагами удалился в противоположном направлении.

Я осталась одиноко ждать этого далекого трамвая. Было темно и тревожно, но я была так изранена, что у меня не было сил бояться. В ушах похоронным звоном звучал голос режиссера: вагонетки со свинцом, сексуальная свобода, торжество женщин. Вагонетки со свинцом, свобода...

Не могли бы вы, если вас не затруднит, прислать мне пару изящных удобных кандалов?

5

Мы в полном составе продолжаем двигаться, словно смутное остывающее солнце, по странной орбите, где вместо знаков Зодиака — Дом культуры, Дом рабочих, Дом спорта, Дом проституток...

В последний я отказалась идти наотрез. Гид всячески меня уговаривала и ник^с не могла поверить, что мне совершенно не интересно. Гиды «Интуриста» с явным неодобрением встречают мои попытки улизнуть с экскурсий. Стоит мне сказать, что я собираюсь встретиться с друзьями, — в их взглядах появляется недоверие. Может, заподозрили меня в тайной подрывной деятельности? А если так, не услышу ли я вскоре над своими останками хрипловатый голос (возможно, Первого Профессора): «*Закройте* ей *лицо*; мои глаза в слезах; Как рано ей пришлось оставить свет!»[21]?

Все остальные покорно отправляются, куда велят, делая вид, что поступают так, движимые чувством долга, и что для них это лишь формальность. Конечно, они вернулись разочарованные: им не показали ничего, кроме бесконечных статистических справок. А в подобных случаях от статистики толку мало, даже наши Профессора это признают.

Сильно похолодало, невозможно согреться, пока не заберешься в постель. Из-за нехватки топлива центральное отопление в большинстве зданий отключено. Сегодня мы, сбившись в кучу, словно стриженые овцы, отправились в Третьяковскую галерею. На Западе, прежде чем войти в Национальную галерею или Тейт, принято сдавать портфели, трости и зонты. Но в России, где люди более основательные, надо снимать еще и пальто: вдруг кто попробует прошмыгнуть мимо служителя, обернувшись краденым холстом? Хотя вряд ли даже самому эксцентричному посетителю пришло бы в голову совершить нечто подобное. Картины из Третьяковской галереи вряд ли впишутся в домашнюю обстановку. Впрочем, от нас и не ждали восхищения картинами — нас должна была впечатлить их развеска. В соответствии с советскими принципами один зал был забит до отказа портретами богатых аристократов: шелка, атлас, кружева и драгоценности сверкали вокруг, вызывая тоску и усталость. Затем, явно оживившись, гид привела нас в зал, заполненный изображениями крестьян, претерпевающих разнообразные мучения. «Поразительно!» Просто нет слов. Жизнь не давала русским художникам XIX века времени на скуку, им было не до *vie de boheme*[22]. Раздел галереи, посвященный нравам

буржуазии, тоже хорош: все эти молоденькие девушки, которых бездушные родители приносят в жертву распутным старикам. Пожалуй, я опоздала с визитом в Россию. Мне бы появиться здесь в восемнадцатом веке: тогда, если судить по этим живописным свидетельствам, жизнь была куда более увлекательной. Но я не решилась признаться в этом вслух: меня наверняка осудили бы за неуместное легкомыслие. К тому же, взглянув на Профессоров, я по их лицам поняла: не оставь они свои шляпы в гардеробе, наверняка бы благоговейно обнажили головы.

Я видела Сталина. Или, скорее, могла его увидеть, шансы были шесть к одному. Мы плелись назад в гостиницу, когда мимо нас промчался огромный роллс-ройс, и я разглядела забившуюся в угол фигуру и темное азиатское лицо. Кто-то прошептал: «Сталин!» Но мы уже смотрели вслед умчавшемуся автомобилю. Гид признала, что, возможно, это был он, но ручаться она не может. Я слышала, что шесть роллс-ройсов, в каждом из которых сидит человек со смуглым азиатским лицом, выезжают из Кремля каждую ночь, чтобы на следующий день вернуться назад, и никто (включая даже шоферов) не знает, вез ли он самого Сталина или одного из пяти его двойников. Конечно, в России нет больше террористов, но если бы они вдруг появились, столь хитроумная уловка не оставила бы им ни малейшего шанса выследить жертву.

Интересно, чем руководствуется «Интурист», составляя наши ежедневные программы? Кто, например, додумался до сегодняшнего утреннего маршрута? У меня нет ответа на этот вопрос. Хотите знать, чем мы занимались? Пожалуйста!

Поднявшись по высокой бетонной лестнице, мы, словно замерзшие грачи с верхушек деревьев, глядели на ровное поле, по краям которого стояли редкие аэропланы. Нам не разрешили подойти ближе, но позволили, дрожа от холода на шатком помосте, любоваться тем, как в сером тумане тают вдали очертания Москвы, — видимо, решили, что с нас и этого достаточно. Это называлось «осмотр аэродрома с вышки». О, с какой радостью и прытью откликнулись мы на сигнал гида к возвращению! Перед самым нашим уходом огромный «фоккер», будто сжалившись над нами, сделал круг над полем и приземлился аккуратно и торжественно. Он был похож на гигантское опасное насекомое — большие круглые глаза и вздернутый хвост. Едва самолет коснулся земли, из маленького окошка наверху выпрыгнули два человека и отчаянно замахали флагами. Морозный ветер понес им наши хилые аплодисменты. Мы были благодарны летчикам: они хоть немного оправдали наш визит.

Но разумного объяснения нашему появлению через полчаса на стадионе — размером поменьше «Уэмбли», но столь же безлюдном, — найти не удалось.

— Это стадион, — объявила гид без обиняков.

Мы осмотрели его» без особого энтузиазма. И даже потрогали деревянные скамейки. Да, все верно. Это стадион. Что тут скажешь? Бизнесмен поинтересовался, скорее по привычке, чем из любопытства, сколько он вмещает зрителей. Гид передала вопрос директору спортивной арены (который, конечно же, был тут как тут, стоило нам войти в воротами выведала у него, сколько тысяч болельщиков приезжает на каждое соревнование. Мы всё записали. И привычно изобразили ликование, хоть и не увидели подтверждения услышанному. Пустой стадион — воплощение пустоты. Даже Профессора не нашлись, что сказать, и не смогли придумать ни одного вопроса. Единственный прок от этого посещения — еще одна запись в блокноте. Но поскольку мы не готовимся напасть на Москву с воздуха и не собираемся создать футбольную команду, чтобы бросить вызов московским звездам, вряд ли эти утренние развлечения хоть на йоту увеличили наши знания о России. Впрочем, «Интуристу» — заботящемуся о нас, словно мать родная, — лучше знать. Хотя поверить в это трудно.

Я трачу мои рубли на *дрожки* и зеленый лук. Луком я делюсь со всей группой, так что каждому достается по стрелочке. Сначала все мужественно придерживались нашей ежедневной диеты из... ну, на вкус это как конина или китовое мясо, и упорно отказывались от подобных буржуазных излишеств. Но я объяснила им, что покупаю лук из медицинских соображений, а не из пристрастия к роскоши, они успокоились и теперь безропотно разделяют со мной трапезу. Все, кроме Фермера-Птичника. Удивительно: он-то ведь даже не розовый, а скорее разноцветный — красный, белый и даже синий. Потом я узнала, что Фермер продал за шестьдесят рублей свои брюки (запасную пару) какому-то нуждающемуся русскому и может теперь сам покупать себе лук, который ест в блаженном одиночестве, когда остальные спят. Между прочим, сказав «нуждающемуся», я имела в виду «того, кому нужны брюки», а не нищего. На самом деле здесь у всех, за исключением *старых русских*, деньги есть, но тратить их почти не на что. В. водила меня в одну семью, они живут вшестером в одной комнате и не знают, что делать с деньгами, которые зарабатывают. При этом они почти голодают. Эти люди показали мне кучу мясных карточек, но, поскольку мяса нигде нет, от них никакого проку. Понимаете, если у нас на Западе нищета существует посреди изобилия, здесь все с

точностью до наоборот. В России денег в достатке, но не хватает продуктов. Так что обе цивилизации, извините, культуры (вряд ли можно назвать Советское государство цивилизованным) — всяк на свой лад принимают надир за зенит.

Я побывала на свадьбе — мы все там были. И на двух разводах. Всё произошло за пятнадцать минут, так что не ждите от меня рассказов о лепестках апельсиновых деревьев и изложения речи судьи при расторжении брака. Никаких таких буржуазных штучек не было и в помине. Все прошло на самом современном уровне — быстро и эффективно, — как застежка-молния. Это было похоже на сцену чудесного превращения в пантомиме, а стоило всего рубль — по крайней мере, бракосочетание. Я не запомнила цену развода -возможно, несколько копеек.

Вот вам регистратор — строгая женщина (все женщины-чиновники в России очень строгие) с прилизанными волосами и выражением крайней деловитости на лице. Вот вам жених и невеста. Назовите ваше имя, пожалуйста. И ваше. Так. А теперь рубль. Всё — готово. Следующий, пожалуйста.

Для развода достаточно двух почтовых открыток. По крайней мере, мы не увидели, чтобы к ним прилагались люди. Гид объяснила, что для получения развода одному из супругов нужно просто подать заявление. Он или она посылает почтовую открытку регистратору, сообщая, что не хочет больше состоять в браке. Все как в арабских сказках: стоит только пожелать — и твое желание исполняется. А посему, проснувшись в одно прекрасное утро, вы запросто можете обнаружить, что больше не муж или не жена. Конечно, лучше, хотя бы из вежливости, известить вашего супруга о процедуре развода, но это, кажется, не обязательно.

Просто — чик-чик, и готово! Нет-нет, подумала я: где-то тут должна быть загвоздка. И она нашлась: это дети. После развода каждый родитель обязан нести ответственность за благополучие ребенка до достижения им восемнадцати лет. Услышав это, я без колебаний поверила переводчице, которая сообщила нам, что при советском режиме разводов стало на 15% меньше, чем в царские времена.

Зато бездетные семьи могут жениться и разводиться сколько угодно. Молодой американец, которого я встретила несколько дней назад, рассказал мне, что его друг, тоже американец, возвращаясь на родину, оставил своей русской подруге граммофон. Хотя девушка не была красавицей, на ней тут же женился юный любитель музыки. Однако, став обладателем граммофона, он быстренько развелся и женился на девушке

посимпатичнее. На радостях он подарил граммофон новой жене, после чего та, в свою очередь, с ним развелась и выбрала супруга покраше. Ну, и так далее. Граммофон вел весьма легкомысленное существование, перебираясь из одной супружеской постели в другую. Чем все это для него закончилось — неизвестно. Возможно, он скончался от старости и изнурительного труда...

Серый, серый, серый — только серый цвет в лицах здешних людей и на небе. О, где же Чингисхан?[23] Мы бы должны были услышать о нем, ведь мы уже так далеко на Востоке. Прошлым вечером я попросила Первого Профессора съездить со мной на *дрожках* и поискать его. Поначалу он не решался, но, надо отдать ему должное, все-таки согласился. Подобная роскошь противоречит его принципам: раз он согласился путешествовать без лишнего комфорта, значит, так тому и быть. Что ж, Адам был столь же тверд в отношении всех плодов райского сада, за исключением одного. Теперь я знаю, как он выглядел в тот момент, когда ему протянули яблоко: медленные волны света поднимались в его взоре, они становились все ярче и шире, угрожая поглотить целиком, и не было рядом руки, чтобы спасти его. Но Первый Профессор оказался удачливее Адама. Одна из Школьных Учительниц протянула ему соломинку. В гостинице, сообщила она, состоится лекция мистера Блумберга, который будет излагать советскую трактовку «Гамлета». Тут уж Профессор, бесстрашно махнув рукой, решил пуститься во все тяжкие и взобрался на *дрожки*.

Увы, мы не нашли Чингиса. Впрочем, Профессор не больно-то его искал, просто воспользовался случаем, чтобы еще раз попробовать меня распропагандировать. Мы ехали под дождем и снегом по красивым улицам, где купола церквей вздымались в небо, словно кольца дыма, и Профессор настойчиво пенял мне, что я неверно понимаю главную задачу поездки. Передо мной раскрыли, образно говоря, учебник коммунизма для умных женщин, а я не желаю воспользоваться такой возможностью...

Мне пришлось забыть о Чингисхане и о вас (я начинаю ужасно тосковать по дому — живы ли вы еще? Отрастили ли бороду? Как давно это все было и как далеко!) й попытаться переубедить Профессора. Я постаралась втолковать ему, что, мол, достойно удивления, как он ухитрился, дожив до столь почтенного возраста, не усвоить, что женщина и так по природе своей коммунистка и увлекать ее политикой, все равно что «навести на лилию белила»[24], или, того паче, «свести» их. Разве возможно, спрашивала я его, замкнуться в определенном времени, повесив на дверь табличку «Finis»? А ведь именно это он и пытается сделать. На самом деле этот русский эксперимент

представляется мне слишком важным, и негоже нам таращиться на него, словно выводку любопытных цыплят.

— Важным? Так вы признаете это?

Конечно, признаю. Но в то же время он кажется мне ужасно несовершенным, ужасно старомодным, ужасно буржуазным («О Боже!» — воскликнул Профессор, забыв, что этот возглас выдает в нем ученика, равнодушного к советским принципам). Сейчас Россия больше похожа на «Школьные годы Тома Брауна»[25] или «Бригаду церковных парней»[26], чем на идеальное государство. Согласись я признать это идеалом, мне бы пришлось исключить все прочее, а поступи я так — как смогу стать коммунисткой в полном смысле этого слова? Мне мало части, мне нужно все.

К моему удивлению, Профессор удивился.

О, эта горстка интеллектуалов, — они забыли историю, отказались от собственного опыта и знаний и не доверяют своим чувствам и воображению. Это явный саботаж — проделали дырки у себя в мозгах, чтобы судить о России, пренебрегая чувством соразмерности. Все это и многое другое я высказала Профессору, пользуясь редкими паузами, поскольку он по привычке, обращаясь ко мне, говорил так, словно вещал с кафедры в большой студенческой аудитории. Но должна признать — он вел себя честно и позволил мне выговориться. Ни один из нас не одержал верх в этом споре, да на самом деле к этому и не стремился. Хотя ясно как день, что я постоянно ставлю палки в колеса его интеллектуальных рассуждений.

Дождь со снегом — это уже чересчур! Я провела весь день в постели. Вечером ПП послал мне букетик цветов. Откуда он его раздобыл — не могу себе представить, ведь в Москве не найти ни цветочка! Я поблагодарила его, и он с кислой миной проворчал, что сделал это не из добрых чувств, а скорбя о моих политических заблуждениях.

Я пропустила лекцию о Гамлете, но зато посмотрела самого Гамлета. Скажите на милость, почему, ну почему меня первым делом не отвели в этот театр, а вместо этого водили в дома культуры и тому подобное! Кто-то из нас явно не в здравом рассудке — я или «Интурист»? Вроде со мной все в порядке. Ладно, не обращайте внимания, я должна рассказать вам о театре. Вот где Россия предстает с наилучшей стороны, а посещение театров не входит в программу нашей поездки! «Они показывают вам только самое лучшее!» Бла-бла-бла. Как бы не так: лучшее они от вас прячут! Приходится искать на Свой страх и риск.

Так вот — я встретила Режиссера[27]. Другого. Он сказал, что

мне достаточно будет показать мою визитку в... (увы, я не знаю, как пишется название этого театра) и меня будет ждать свободное место. Я так и поступила. Мужчина в кассе изучил мою карточку и бережно положил ее себе в карман. Испугавшись, что все пропало, я разыграла перед ним пантомиму, изображая то, как усаживаюсь на место в зале^слежу за невидимой, но захватывающей игрой актеров и горячо аплодирую... тогда до него наконец дошло. Он радостно оторвал красный билетик, сунул его мне в руку, а меня — в объятия здоровенного советского солдата, крикнув истошно: «Френц — ага? Френц?»[28] Я кивнула, мы все закивали, и втроем, в едином братском объятии, направились к входу. На пороге темного зрительного зала я спросила солдата по-французски, успела ли я к первому акту? Он открыл рот. Первый акт? Нет, конечно! Уже заканчивается третий. *Mais, comment*![29] Еще только половина девятого, а у них уже конец третьего акта Hamlet?

— Хэмлет? — Они уставились на меня. — Нет, идет водевиль, третий акт.

— *Milles tonners*![30]

— Гамлет!

— *Vous voulez*[31] Гамлет?

Ладно, пусть будет Гамлет, раз им так хочется, но одного из них — Гамлета или Hamlet — я должна увидеть. Оказалось, что этот спектакль идет в другом театре — через две площади отсюда.

Я бежала по Москве как угорелая, громко вопрошая: «Гамлет?» Прохожие указывали мне вперед, словно танцоры в кордебалете у Hermes. Я рухнула в кресло почти перед самым концом первого акта. Но даже того немногого, что мне удалось увидеть, прежде чем вспыхнул свет, оказалось достаточно, чтобы убедить меня, что: во-первых, это какой-то совершенно новый «Гамлет», и во-вторых, всех туристов, чтобы они поняли Россию, надо водить в театр сразу по прибытии. Ясли? Крепости? Чепуха! Жизнь страны — здесь!

Какая это была игра! Возможно, она бы разбила сердца нашим профессорам, но мое, впервые с тех пор, как я оказалась в России, вело себя нормально. *Pour arriver a Dieu ilfaut detourner de Dieu*[32]. Пусть постановщики отреклись от того Гамлета, к которому мы привыкли, зато теперь он блистал ярче, чем когда-либо[33]. Все возможные правила были нарушены, текст убийственно сокращен, добавлены цитаты из великого Эразма и безымянная буффонада. Характеры действующих лиц тоже изменились. Розенкранц и Гильдестерн превратились в парочку клоунов, которых выпускали перед занавесом всякий раз, когда

меняли декорации. Но если подумать: эти двое и впрямь вполне водевильные персонажи, и их легко можно превратить в фарсовых комедиантов. Как часто мы не могли сдержать стонов, когда какой-нибудь знаменитый актер бросал в пустоту риторический вопрос: «Не благороднее ли покориться» и т.д. и т.п., и даже эхо не было ему ответом. Но на этом сйектакле было все не так. На этот раз монолог поделили между Гамлетом и Горацио. Два студента в библиотеке дворца: Гамлет вертит глобус, Горацио на лестнице тянется за книгой на самой верхней полке.

— Быть или не быть? — начинает Гамлет.

— Вот в чем вопрос, — подхватывает Горацио. Диалог продолжается и в самом деле кажется живым — именно так и ведут беседу совсем юные студенты.

Наставления Гамлета актерам, и сцена спектакля были поставлены как репетиция на дворцовой кухне. Но поскольку для развития сюжета важно показать, какое впечатление постановка произвела на короля, эта сцена была позднее повторена как пантомима, и мы смогли увидеть, с каким ужасом смотрит ее двор из королевской ложи.

Офелии предложили уйти в монастырь в сцене в лесу, после того как король, королева и свита проскакали мимо на конях из папье-маше и с картонными соколами на запястьях. А знаменитая сцена, когда бедняжка, не безумная, а в стельку пьяная, исполняла свои песни, поддерживаемая подвыпившими пажами, стала завершением королевского пира. И Офелия справилась! На этот раз она показалась мне настоящей, несчастной и трогательной.

Спектакль завершился роскошной потасовкой. Фортинбрас и его солдаты явились ангелами, оплакивавшими кертвых: по тому, как смеялась публика, я догадалась, что это была переделка какой-то солдатской песни.

Возможно, это и не Hamlet, и все же для меня — вполне Hamlet, и, пожалуй, Шекспир предпочел бы его любым заумным постановкам, режиссеры которых способны вдохнуть жизнь в пьесу, только нарядив главного героя в брюки для гольфа или прибегнув к иным ухищрениям — так что спектакль превращается в вешалку для декораций, как в случае «Молодого джентльмена» мистера Кокрана[34].

Я пропустила лекцию мистера Блумберга и, увы, осталась в неведении об истинном значении «Гамлета», как оно трактуется исходя из советских принципов, — ну и пусть: мне достаточно и того, что я увидела собственными глазами.

Помимо игры актеров, которая в основном была великолепной, и новой трактовки пьесы, помимо самого Гамлета,

наиболее интересной частью спектакля для меня стала публика. Это были такие зрители, о которых мечтает любой актер, но находит, как правило, лишь на небесах — публика, которая отдает себя без остатка, как инструмент музыканту. Между актерами и зрителями установилась волшебная связь, невидимый, но почти осязаемый поток, так что все становились участниками, и любой человек в театре играл в пьесе свою особую роль. Все они — актеры по природе. Сидя в русском театре, начинаешь понимать, как Советскому государству удалось довести страну до крайности: добавьте к природной склонности к актерству непрекращающуюся пропаганду и бесконечные плакаты, и вы сможете приручить человека к нынешнему режиму. Афиши, громкоговорители и личная склонность все превращать в театр способны убедить любого, что он играет ведущую роль в большевистском пышном спектакле и что без его участия вся сценическая конструкция Советской России обратится в руины. О, как это хитро придумано, как чертовски хитро! Ленин обнаружил, что медведи могут плясать, а Сталин догадался, как вдеть им в носы кольца, чтобы водить по улицам. Но не скрывается ли где-то там, за всей этой хитроумной эксплуатацией, желание самого медведя, чтобы его водили? Не по собственной ли воле люди выбрали тиранов, которые подыгрывают их самым глубоким инстинктам и освобождают от необходимости думать самостоятельно?

Я обнаружила, что ПП так НЕ думает.

В посольстве мне заявили, что постановка «Гамлета» — кощунство. Один дипломат даже вышел из зала. Удивительно: мы постоянно встречаем людей, которые, как нам казалось, существуют лишь в книгах! Эти словно сошли со страниц книг Уиды[35], но поразительно достоверны. Они говорят об охоте, Би-би-си и этих ужасных русских. Носят брюки в полоску, визитки и, кажется, не выпускают из рук невидимых Юнион Джеков. Лишь одно удерживало меня от того, чтобы выскочить на улицу и заключить в объятия первого попавшегося русского. Одно-единственное — кекс. Настоящий кекс — вы такого никогда не пробовали! И чай с молоком. И подушки. Вы не представляете, насколько Россия обостряет ваши чувства. Вы сокращаетесь в одном измерении, но одновременно волшебным образом расширяетесь в другом. Зрение остается соразмерным, поскольку всегда найдется чем порадовать глаз; но слух, обоняние, осязание и вкус оказываются совершенно лишними, и этот вынужденный лечебный отдых превращает их в великанов, необыкновенно

чувствительных, выжидающих великанов с обостренной, как никогда прежде, восприимчивостью.

Мелочи приобретают огромное значение, их важность вырастает до небес... Р^-зве не удивительно, что Россия, присягнувшая материализму, превращает каждого из нас в Парацельса, который видел звезды в хлебе своем, и наполняет нас неутолимыми желаниями?..

Я заметила, что за мной следят, то есть следят за всеми нами. Конечно, мои спутники с тех пор, как мы оставили Лондон, постоянно твердили мне, что в России никто и шага не может ступить без того, чтоб об этом не стало известно в Чека — всем, от мелкой сошки до начальства. Но я смеялась над ними. Мне казалось, это уже чересчур: какая трата времени для, Чека!

Однако когда я захотела позвонить Т. в Ленинград и дала портье в отеле номер его телефона, тот сказал мне: «Да, я знаю. Вы хотите позвонить товарищу Т. Нам известно, что он ваш друг. Но его телефон сломан, так что это невозможно».

Каждый день я просила служащих отеля -любого, кто попадался мне на глаза, — позвонить Т. от моего имени (я не могу сделать это сама, ведь я не знаю ни слова на этом корявом варварском языке) и в ответ слышала всегда одно и то же: «Мы знаем. Он ваш друг. Но телефон сломан».

Какая досада! А я-то хотела сообщить ему, где установила бомбу, и спросить, что мне делать со всей этой взрывчаткой.

Но если серьезно: что-то здесь не так. Всякий раз, когда я отправлялась куда-нибудь одна, гид узнавала, где я была. Как это им удавалось? Может, ко мне приставлен специальный человек из Чека? Кто он... или она? Та женщина во вчерашнем трамвае с кульком из стеганого одеяла, в котором (судя по раздававшемуся изнутри слабому писку) медленно задыхался младенец? Или мужчина, которого сбила карета скорой помощи да так и оставила лежать на дороге: хочешь, умирай, хочешь, спасай себя сам. Подобное внимание к моей персоне весьма лестно, но явно портит мой характер, побуждая меня к самовозвеличиванию. Бесполезно объяснять «Интуристу», что у меня есть друзья в России и есть рекомендательные письма, а тем паче то, что мне порой необходимо просто побыть в одиночестве — для них это худшее из зол. Самый нездоровый знак. Настоящему большевику одиночество ни к чему. Он так устроен, что его единственное желание — это работать в шайке, спать в шайке наслаждаться жизнью тоже в шайке. Ужас!

Они все больше на меня злятся. И я тоже. Я купила билет для путешествия по Красной России (по крайней мере, я так думала), а не для краткосрочной службы в армии. Но если так и дальше

пойдет, то мне придется записаться в армию, поскольку советские солдаты все как на подбор выглядят счастливыми и накормленными. Мне говорили, что им всегда достается лучший кусок, и они вольны делать то, что им нравится. В таком случае, армия — это то, что мне нужно. Только пусть это будет мужское подразделение. Русские женщины-военные, которых встречаешь на улицах, наводят страх — фи-фай-фо-фам[36]. Один их взвод способен, я уверена, стереть всю западную армию.

До свидания, пойду прогуляюсь и поищу А. Если вы больше обо мне не услышите, передайте всем мою любовь...

6

Гид объявила новость: мы не едем в Нижний Новгород. Только что в конторе «Интуриста» разыгралась бурная и драматичная сцена. Хотя наша группа и готова смириться с порядками Советского государства, но для англичанина купить билет, а потом не получить разрешения отправиться в место назначения, которое в нем указано, — это уже чересчур. Мы потребовали объяснений. Сколько можно?

Оказывается, корабли сломались. Что, все корабли? Невероятно! Но «Интурист» неумолим. Нам пришлось позорно отступить в угол, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию. А гиды смотрели на нас, и их монгольские лица выражали презрение. Ну нет, мы не позволим им так просто от нас отделаться! Раз в Нижний Новгород нельзя, требуем заменить его на не менее увлекательное приключение. Мы быстро сговорились. Вот наши требования (хотя у меня и были сомнения по поводу первого пункта): взамен Нижнего Новгорода нас должны отвезти в хороший колхоз и на балет.

Сотрудники «Интуриста» сплоченной группой ретировались в другой угол, чтобы обсудить наш ультиматум. В конце концов они его приняли, и мы сменили гнев на милость. Но что-то во взгляде «Интуриста» меня по-прежнему настораживало. Казалось, в нем невидимыми чернилами было написано некое дополнительное условие. Они наверняка задумали какой-то подвох, или можете считать меня русской.

Но мы снова исполнены великодушия и благородства и постоянно убеждаем друг дружку, что «Интурист» не отвечает за неполадки на водном транспорте. Одним городом больше, одним меньше, зато мы увидим колхоз: тракторы, километры степей, сельскохозяйственных рабочих, узнаем статистику.

Мне все же интересно: а видел ли кто-нибудь Нижний? Хотя бы один турист? Сомневаюсь. Был, правда, Х., который написал ужасно душещипательную книжку. Я помню, что он сидел на пристани в Нижнем, в ожидании корабля. Возможно, решил, что видел и сам город. А еще П.[37], тому даже разрешили сойти на берег и провезли (первым классом) вокруг стены автомобильного завода (который был закрыт), а потом доставили обратно на корабль. Но он ничего не смог рассказать нам о Нижнем. Кто же живет на священном холме?

Я так и знала! Нас надули. Мы побывали в «колхозе». Такая хитроумная и смешная шарада.

Рано утром к нашей гостинице подкатил шикарный автобус. В приподнятом настроении наша группа и новая переводчица, которая едва могла связать по-английски пару слов (видимо, решила, что учить язык — пустая трата времени), сели в него и отправились в путь. Мы уже отвыкли ездить в комфорте и теперь не могли скрыть своего ликования. Скорее всего, мы были похожи на группу еврейских коммерсантов, отправившихся на пикник. Автобус промчал нас по Москве, и мы, погрузившись в радостные размышления о лучших сроках посевной и урожаях, отправились в длинное-предлцˆйюе путешествие к сердцу России. Мы обсуждали, сколько квадратных миль может вспахать трактор за час, и жаждали узнать очередные статистические выкладки.

Но, не проехав и получаса по пригородам Москвы, автобус вдруг остановился у небольшой ветхой деревушки. Гид собралась с духом и решительно изрекла по-английски:

— Пойдемте.

Пойдемте? Куда? Мы ведь торопимся в колхоз и не можем терять время зря!

— Это колхоз, — объявила она и махнула рукой в сторону грязной клячи, пасшейся на лугу, и горстки деревенских домишек.

Мы удивились, но рассудили, что ей лучше знать, и вышли из автобуса. Гид указала на самый дальний дом — «Там!» — и возглавила колонну. Мы парами двинулись за ней следом, а когда добрались до места, нас загнали в маленькую комнату, оказавшуюся конторой: несколько полок и два стула. И директор. Он говорил, не умолкая, почти час, время от времени сверяясь по большой потрепанной книге, которую, будь мы в любой другой стране, наверняка бы приняли за Библию. Мне даже показалось на миг, что мы присутствуем на религиозной службе какой-то запрещенной секты. Но — нет. Лекция закончилась, и настал черед гида переводить.

— Это место, произфодить тридцать три капусты ф год...

Мы изумленно переглядывались. Разве за это мы боролись? Тридцать три капусты!

— Лука дфе тысячи. Семь моркофи. Нитраты — нет, нету. Почфа, она хорошая. Да. Много рабуочих. Нет, они не едят капусту. Капуста — для государстфа.

Мы возроптали: это уже слишком! Даже Школьные Учителя это уразумели. Но гид не была идиоткой. Она еще немного побарахталась, но в конце концов поняла, что дело безнадежно и что учебник английского ее подвел. Заметив, что ситуация накаляется, она выкрикнула:

— Пошли!

Мне было жаль директора. Он казался таким огорченным и разочарованным. Из его прекрасной речи перевели только одну десятую! Неужели эти англичане уйдут, так и не узнав, сколько помидоров у него в теплицах?

Мы высыпали на улицу. Я направилась к автобусу.

— Вы что, не пойдете с нами? — спросил Первый Профессор.

— Нет. Капуста никогда меня не интересовала.

— А вдруг там будет что-то другое? — сказал он, сам не веря своим словам.

— Сомневаюсь.

Он мрачно пошел один.

Когда я вернулась в автобус, водитель вдруг ожил, осторожно кашлянул, ударил себя в грудь и вопросительно выставил вперед руку. Я решила, что он, услышав мой кашель, справляется о моем здоровье. И кивнула с улыбкой. Тогда он нырнул в какой-то тайник у себя под сиденьем, извлек грязную бутылку и чашку и с сияющим видом протянул их мне.

— Водка? — спросил он.

Я превратилась в китайского болванчика. Я кивала и улыбалась, выражая мою признательность и благодарность. Водитель обтер чашку носовым платком, наполнил ее и церемонно протянул мне. Вам ведь известен вкус ирландского самогона? Ну, это не совсем то. Скорее похоже на жидкий огонь. Я выпила свою порцию, потом водитель выпил тоже и спрятал бутылку. Мы сидели, улыбаясь друг другу, совершенно счастливые, меж тем как горизонт перед нашими глазами постепенно расплывался, деревья двоились и пускались в пляс, а единственная коняга каким-то загадочным образом превратилась в четырех лошадок, и те, покачиваясь, ходили друг за дружкой. Дома то взлетали в небо, то опускались, как качели на ярмарке. Так хорошо!

Вдруг я услыхала снаружи какие-то писклявые голоса. Я выглянула. Шесть маленьких мальчиков (хотя это мог быть и один-единственный мальчик, повторенный многократно, водка творила чудеса, ноги продолжали множиться) пропищали мне: «*Товарищ, товарищ, товарищ*». Я пошарила в сумке. К счастью, там завалялся остаток шоколадного кекса, который Первый Профессор купил для меня накануне. Я разломала его на маленькие кусочки, и эти создания склевали их прямо из моих рук, словно птички. Но тут из одной избы вышел вразвалочку здоровенный неотесанный парень. Увидев, что происходит, он одним махом сгреб детей в охапку и принялся читать им длинную нотацию. По презрительным взглядам, которые он то и дело бросал в мою сторону, я догадалась, что он напоминал им о

догмах советской религии. Взять мясо (а шоколад — в сто раз хуже!) из рук капиталиста — стыд и позор! Неужели у них, граждан Советского государства, совсем нет гордости? Что же из них вырастет? Одному Ленину известно.

Закончив, парень явно остался доволен своими нравоучениями. Но стоило ему повернуться спиной к детям, те снова слетелись ко мне. Я опять им что-то накрошила. Это превратилось в игру. Казалось, что с каждым новым приступом детей становится все больше — вряд ли водка тому виной. Когда вернулись остальные члены нашей группы, я кормила уже целый полк октябрят (юных большевиков).

— Это просто детский сад, — сказал Первый Профессор, который пришел чуть раньше других.

— Просто детский сад в прекрасном золотом... Нет-нет, Профессор, я не то имела в виду. Не слушайте меня. Я пьяна. Это все водка!

Глаза Профессора блеснули.

— Где вы ее взяли?

Взмахнув рукой, я дала понять владельцу бутылки, что Профессор мой лучший друг. Шофер снова наклонился и извлек свое сокровище.

Вид Первого Профессора, пьющего водку прямо из горлышка, никогда не изгладится из моей памяти. Но он так строго зыркнул на меня, что я прикусила язык и удержалась от комментариев.

На обратном пути в перерывах между приступами пьяного смеха Профессор поведал мне, что им показали еще одни ясли, теплицы и несколько грядок со свеклой. По его тону я догадалась, что он устал от младенцев и ему уже до лампочки овощеводство.

Препираться с «Интуристом» было бесполезно. С откровенно лживыми минами они утверждали, что мы видели *именно* колхоз. Ввернув парочку хлестких словечек, мы заявили им, что ничего и близко похожего мы не видели, тогда они весьма высокомерно дали нам понять, что их курс изучения английского языка не включал ругательств, чему они очень рады...

Вчера вышел ужасный конфуз. Это случилось вечером на балете. Ну да, мы все же попали на балет. Я разочарована: нам показали не современный спектакль, а «Lac des Cygnes»[38] в такой устарелой постановке, что мы словно бы вернулись в царские времена. Впрочем, надо отдать должное их технике — танцевали они превосходно. По крайней мере, намного лучше, чем то, на что способны мы на Западе. Добавление — «ский» или «ов» к английской фамилии не добавит русского масла и вина к английской крови. Но мне-то хотелось посмотреть балет, где

классическая техника, освобожденная от плесени традиций, соединяется с новыми формами и интерпретациями, а Lac оказался лишь впечатляющей демонстрацией *tour de force*[39]!

Зато вновь, как и на «Гамлете», публика была великолепна. Казалось, что некий безымянный волшебный сок течет сквозь вас, вызывая то редкое ощущение гармонии, которое появляется, когда много людей в едином порыве разделяют общее чувство восторга. В театре я чувствовала полное слияние с русскими, возможно, потому, что театр — единственное место, где они становятся свободными людьми и не ведут себя как члены групп, ячеек и советов. Так что выходка Третьего Профессора и Фермера-Птичника была особенно неприятна.

Мы все: Третий Профессор, Птичник, две Учительницы и я, оказались в одной ложе с парой русских. Один из них, как удалось узнать благодаря ломаным французским фразам, был шурином Скрипача. Он так гордился этим родством, что у меня язык не повернулся признаться ему, что игра Скрипача показалась нам весьма посредственной. Наш сосед сообщал мне имена всех танцоров и нашептывал на ухо в антрактах содержание следующего акта. После исполнения великолепного *pas seul*[40] публика с восторженными возгласами вскочила с мест и принялась размахивать программками.

И вот представьте себе мой ужас, когда посреди всего этого рокота восхищения я услыхала у себя за спиной выкрик: «Лжец!» Я обернулась. Оказалось, что Третий Профессор и Фермер-Птичник под шумок выясняли отношения. (Они всегда недолюбливали друг дружку, а тут их терпение лопнуло.) Зажегся свет, и публика в изнеможении опустилась в кресла. Но ТП и ФП уже почувствовали вкус крови и сцепились не на жизнь, а на смерть. Они продолжали свою перепалку, осыпая друг друга оскорбительными эпитетами, и при этом сохраняли на лицах застывшие улыбки — русские не должны догадаться, что двое англичан потеряли самообладание. Но даже слепоглухонемой африканский дикарь без труда бы смекнул, что к чему, а уж русские, естественно, были поражены.

ТП повернулся ко мне и с натянутой улыбкой прошипел:

— Вы слышали, как он назвал меня?

— Что он говорит? — прошептал мне на ухо шурин Скрипача.

Что прикажете отвечать? Скажи я: да, слышала — навлеку на себя гнев ФП, а скажи — нет, ТП решит, что я затаила на него злобу после эпизода с «землей надежды и славы».

— Что он говорит? — не унимался шурин Скрипача.

— Тсс! Они обсуждают балет. Англичане очень серьезно относятся к искусству танца, они приходят в восторг от *pas-bas,*

plie воспламеняет их, а *entrechat*...

Кажется, шурин Скрипача мне не поверил.

Вот положеньице! С грехом пополам удалось достичь перемирия, и к концу антракта соперники уже сидели на своих местах, повернувшись спиной друг к дружке, и с надутым видом глядели в никуда. Но на протяжении всех последующих действий я явственно ощущала клокотавшую в них жажду реванша.

— Если я еще раз услышу... как вы называете меня... я вам мозги вышибу... не удивлюсь... если вы шпион... которому платят русские... Повторите это еще раз... Только попробуйте это сказать...

— *Incroyable!*[41] — бубнил шурин Скрипача, то ли обращаясь ко мне, то ли бормоча себе под нос. — *Incroyable!*

На обратном пути ТП и ФП шли по разным сторонам дороги. Они до сих пор пребывают в состоянии войны, а я, незадачливый нечаянный свидетель, занимаюсь тем, что ношу белые флаги и голубей от одного к другому.

В иных обстоятельствах я, возможно, посчитала бы это даже забавным, но сейчас я так устала от антагонизма. Мы, англичане, из последних сил стараемся поддерживать в себе искреннее восхищение, а русские упорно стоят на своем. Стоит ли удивляться подобным вспышкам? Суждено ли нам вернуться к нормальной жизни? Цветущие кусты утесника в темных ложбинах, стада, утопающие по колено в траве; ярко-зеленые поля Ирландии, где в ежедневном преображении трава становится плотью — существует ли все это на самом деле или сохранилось только в моей памяти? О боже...

Сегодня, проходя по Красной площади, я повстречала человека, который толкал тачку, нагруженную бронзовыми бюстами Ленина и Сталина. Часовые, стоявшие на карауле у ворот Кремля, заметив священный (серийного производства) груз, вытянулись по стойке смирно и лихо отдали честь. Но представьте мое потрясение, когда я увидела, что толкавший тачку мужчина настолько забыл о торжественности своей миссии, что не снял шапку.

7

И вот — высшая точка моей поездки: меня пригласили на чай к Члену Коммунистической Партии. Когда М. сказал мне, что я просто обязана встретить А., я выслушала это достаточно спокойно. Я не знала, какая это выдающаяся личность. Боже, у него было две комнаты и кухня!

Когда я добралась до места, для чего пришлось показать половине Москвы мой клочок бумаги с написанным печатными буквами адресом, то ожидала увидеть обычную однокомнатную квартиру, наполненную младенцами, дедушками, сестрами, племянницами и тетушками. Но я нашла А. и его жену совершенно одних. Это казалось даже как-то неестественно.

Конечно, он заслуживал этого. Известно ли вам, что он семь раз директор. Член нескольких консультативных комитетов, секретарь писательского клуба и успешный драматург. В скором времени он собирается начать переводить на русский язык английские и американские книги, и поэтому первым делом велел мне по возвращении в Англию выслать ему полное собрание сочинений Гертруды Стайн.

Поначалу наша беседа была весьма стерильной, словно выметенная новой метлой. Я заметила, что хозяин из вежливости сдерживает свое возмущение нашими западными обычаями, и вела разговор осторожно, стараясь избегать скользких тем. Вдобавок я была зачарована маленькими разноцветными пирожными, самоваром и домашним теплом, мне не хотелось расставаться со всем этим до того, как мои чары рассеются.

Вдруг А. разом сломал то непрочное убежище, которое мы строили сообща.

— Значит, вы поддерживаете Советское государство, верно?

Я смутилась.

— Ага! — его глаза блеснули.

Он увидел во мне потенциальную новообращенную. А я почувствовала себя в бурном море. Он и его жена: двое против одного — это нечестно.

А. победоносно переходил от пункта к пункту, убеждая меня, что никакая другая цивилизация не может сравниться с Советским государством. От рабочих мы перешли к ударным бригадам, от ударных бригад — к коммунистическим ячейкам, от них — к комсомолу, а затем — к кооперативам. Вы и представить себе не можете, сколько рангов рабочих существует в пролетарской России!

Он словно впал в транс, я уже замечала подобное у русских,

но на этот раз впечатление было намного сильнее, ведь предо мной был Член Партии. Пока А. говорил, я пыталась разглядеть за официальным фасадом реального человека. Неужели советские принципы не просто напечатаны на нем, но даже выгравированы? Трудно поверить: он обладал живым умом и так быстро загорался от любого моего слова.

Мой собеседник перевел дыхание и заговорил снова.

— Теперь давайте посмотрим на писателей и художников.

И мы посмотрели на них. Сначала в их красивых квартирах в Доме писателей и в Доме художников. У каждого была своя комната: кровать, стол и стул — все это оплачивается государством, которое гарантирует, что они никогда впредь не будут голодать.

— Но согласитесь: нищета, голод и нужда часто вызывали...

А. подхватил и закончил мою мысль прежде, чем я успела ее сформулировать.

— ...неизбежные разногласия между художниками? Ну, это все в прошлом. Теперь, когда о них заботится государство, подобные трения могут возникнуть лишь от столкновения мыслей...

Я не стала возражать ему и утверждать, что разногласия наверняка возникнут у жильцов Дома писателей, несмотря на гарантированные кровать, стол и стул. Да у меня и не было такой возможности, потому что А. уже перешел к следующему советскому принципу — тому, который избавляет художника от необходимости самостоятельно искать тему будущей работы.

Грубо говоря, для художника в Советской России есть три темы на выбор: падение царизма, революция и рождение нового человека (большевика). Пока А. перечислял их, отметая все остальное, что было в истории, я все больше убеждалась в том, что Советское государство кровно связано с ранним (да и современным) христианством. Оба разделяют ту же *nouveau riche*[42] идею, что до появления их символа веры — Ленина или Иисуса — в мире царил хаос. Оба провозглашают труд единственной добродетелью и обожествляют труженика. Оба практикуют культ Марии — рожай, рожай, рожай! А воздаяние? Новое рождение. Помните прошлогодний папский эдикт? Его суть: «Богатые, будьте щедрыми. Бедные, будьте терпеливыми, и вам воздастся». Разве последнее утверждение этого гуманного (*sic*) призыва не сродни советскому плакату? *Какие* еще награды? Для бедных христиан — рай в будущем, для бедных большевиков — будущее супергосударство. Мир полон воздаяний, но поколения умирают, так и не изведав их. Ленин первый, кто пообещал рай здесь и сейчас, но и сам не дожил до этого. Его имя

мерцает повсюду в России, как неуловимая звезда; но его решительность, его чувство реальности, его поглощенность бесконечным настоящим — где они? Какая отступническая доктрина затмила их?

«Новая религия», конечно!

А., которому время от времени поддакивала жена, все выше и выше взлетал по лестнице риторики. У меня возникло ощущение, что эти двое, как и все русские, которых я встречала, заняты надуванием огромного мыльного пузыря своей веры — не сознавая, что он неизбежно лопнет, они мчатся во весь опор к распаду, хаосу и торжеству реальности.

Я попыталась было облечь в слова эти свои ощущения.

Но А. разбил мой лепет и продолжил наступление, распаляясь от собственных слов:

— Серп и молот, работа для всех, душа каждого русского...

— Мне кажется, — попробовала я робко возразить, — что такая исключительно личная и индивидуальная собственность, как душа...

Но на его визионерских вершинах не было для меня места.

Уж не знаю, как это произошло, но в какой-то момент я упомянула при его жене о лимонах.

А. тут же со стуком спрыгнул с небес на землю.

— Лимоны? Вы сказали «лимоны»?

Мой собеседник переменился в лице. Выражение транса и фанатичный энтузиазм исчезли. Он снова стал похож на человека: линии лица вдруг смягчились и оживились радостью, он весь как-то похорошел.

— Вы сказали «лимоны». У вас есть лимоны? Я кивнула.

Небожитель пересек комнату и в какой-то любовной ярости потряс меня за плечи.

— И вы мне ничего не сказали! Мне сразу показалось: какая-то вы странная. Я тут говорил-говорил, а вы все это время хранили свой секрет! Пойдемте. Мы поедем в моем автомобиле. Не будем терять ни минуты. Возьмите пирожные. Все. Да, все. Не будем терять ни минуты. Мою шляпу, Наташа. Я поехал за лимонами.

Какими красивыми становятся люди, когда они смеются! О, хрупкие пузыри теорий, вы не устояли перед маленьким фруктом с грубой желтой корочкой. Как мало солнца надо, чтобы растопить замерзшую реку!

А., освободившись на время от своих коммунистических шор, стоял в вестибюле гостиницы, прижав к груди восемь лимонов. Он раскраснелся от смущения и радости и не знал, что сказать, только бормотал всякие глупости, из которых я разобрала лишь

отдельные фразы.

Он не забудет. Никогда-никогда. Он всегда считал ирландцев самыми обаятельными, обладающими самым богатым воображением, самыми понимающими... а может, ему положить их в шляпу — так будет надежнее?

А. не смотрел на меня, когда бубнил все это, но как бы обращался к лимонам. Даже блудный сын не встретил бы более радушного приема.

Проводив его, я повернулась и обнаружила, что портье смотрит на меня с молчаливой мольбой. Понятно. Пригвоздив его к месту взглядом, я сказала:

— Я хочу позвонить в Ленинград. Если дозвонюсь...

Он как на крыльях полетел к телефонной кабине.

Через полчаса меня позвали говорить с Т. Он ждал моего звонка. Почему так долго? Мне говорили, что телефон был сломан. Черти какие! Да ничего подобного!

Что ж, портье получил свои лимоны. Кажется, этой ночью я осчастливила шесть семей, поскольку не смогла ответить отказом на другие молчаливые просьбы из-за стойки отеля. У меня оставалось всего шесть лимонов, я подкинула их в воздух, и служащие гостиницы накинулись на фрукты, словно дети на празднике. Они вдруг словно взбесились, стали швырять лимоны друг другу, перебрасываться ими, смеялись и кричали от радости.

Но дело тут было не в лимонах, как бы они о них ни мечтали. Просто лопнуло какое-то напряжение, и теплота, дружелюбие, жизнь — называйте это как хотите — растеклись между нами.

Один лимон угодил Первому, Профессору в нос: наша группа как раз вернулась после посещения университета (я имею в виду Дом учебы). Он поднял его и швырнул, а кто-то перекинул дальше, и тут мы все на время превратились в хавбеков, центровых и форвардов в фантастическом матче на Приз Лимонов.

На миг мы снова сделались свободными — все мы: русские и туристы — под летящими арками желтых фруктов, стали раскованны, у нас словно выросли крылья.

О Капитан, мой Капитан[43], вот и подошло к концу наше опасное путешествие. Почти. Мы ждем на Ленинградской таможне, когда нас позовут подняться на борт. Ветры дуют с Полярной звезды, за нашими спинами хранит свои секреты стылая лучшая земля[44]. Перед нами простирается холодное приветливое море. Все, кроме меня, стараются скрыть свою радость по поводу окончания русского путешествия. Но я вижу, как она пробивается сквозь чопорность моих спутников, и

замечаю, как становится легче и живее их походка.

— Что ж, это было очень интересно, очень интересно, — нудно талдычит Первый Профессор.

И хор вторит ему:

— Очень!

— Пожалуй, — произношу я многозначительно, — я вернусь сюда в следующем году.

Они глотают наживку.

— Что — ВЫ?

— Ну, никогда нельзя знать заранее. Может, к тому времени все изменится.

Ответом мне — искренний саркастический смех. Ясно: они уверены, более того — они *надеются*, что ничего не изменится.

Но несмотря на столь единодушную надежду и уверенность — как знать? Все возможно. Вспомним преобразившееся и помягчевшее лицо А. — как вмиг исчезли его доспехи! Вспемним лимонное сражение. Все возможно. Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль?[45]

Мы почти дома. Кто называл Северное море пустой тратой воды? Это самое прекрасное и доброе из морей.

Мы все ошеломлены и изнурены сортировкой наших впечатлений. Забавно: каждый теперь стремиться уединиться где-нибудь в уголке. Неужели они так быстро забыли, что их долг — единение? Одинокие и замкнутые, о чем они думают у себя по углам? Тсс, не беспокойте их! Они спят.

Сегодня у меня были новости, для Первого Профессора. Я застала его погруженным в чтение большой книги в коричневой обложке, которую он поспешно захлопнул при моем появлении.

— Профессор, я только что подсчитала, что двадцать два круга по палубе равны половине мили, и еще мы взяли на борт в Киле четырнадцать батонов хлеба, шесть подсолнухов и мешок лука, а средний заработок советского моряка равен...

— Неужели вы *никогда* не бываете серьезной? — с тяжелым вздохом спросил Профессор.

В этот самый момент корабль дал легкий крен, Профессор покачнулся, книга соскользнула с его колен и раскрылась. Я невольно прочитала заглавие — «Трехствольный Финниган» Эллиота Путнама Вэйна. Это же автор «Убийства при лунном свете»!

Я взглянула на Первого Профессора.

Первый Профессор посмотрел на меня.

Это был долгий взгляд. Мы поняли друг друга...

«Московская экскурсия» Памелы Трэверс (Комментарии переводчика)

Памела Линдон Трэверс — одна из самых таинственных фигур детской литературы, что само по себе удивительно при мировой славе создательницы Мэри Поппинс.

Загадкой для исследователей и почитателей писательница остается не только потому, что полны загадок ее книги — сказочные повести/про добропорядочное английское семейство, детей и их няню. Толкованием этих текстов занимаются десятки исследователей — оставим им эту задачу.

Однако всегда хочется узнать больше о любимом авторе. О Памеле Л. Трэверс в последние годы написано в Англии несколько книг, еще больше — статей и очерков. Но за каждым открытым фактом следует новая загадка.

Да, писательница, несмотря на известность и славу, старалась избегать назойливой публичности. Она не любила разговоры о своей личной жизни, это отмечали все, кто пытались взять у нее интервью. «Какая разница, какую кашу ел Джон Ките!» — отшучивалась она. Рассказывая о себе, Трэверс намеренно запутывала следы, превращая свою биографию в полуправду-полувымысел. Она оставила исследователям множество загадок, недостоверных фактов и противоречивых воспоминаний. Забавная деталь: уже после смерти Памелы Трэверс открылось, что никто не знал истинной даты ее рождения: та, что была указана в справочниках и энциклопедиях, оказалась неверной. Меж тем приближался столетний юбилей писательницы: когда же его праздновать — на семь лет раньше или позже?

С тех пор фигура этой необычной экстравагантной женщины с волевым характером и удивительной фантазией, писательницы и философа, в которой здравый взгляд на мир органично соединялся с тягой к мистике, манит исследователей разных стран. Но, несмотря на все новые и новые публикации, в биографии знаменитой сказочницы по-прежнему остается много белых пятен.

Среди страниц жизни Памелы Л. Трэверс есть одна, которая представляет особый интерес для русского читателя. Но практически все исследователи пролистывают ее, не останавливаясь. Поэтому мало кто знает, что первой книгой,

которую написала Трэверс, была вовсе не сказочная повесть, а сборник очерков о путешествии писательницы в Советскую Россию «Московская экскурсия». В основе книги — письма, которые в 1932 году Трэверс писала из России оставшемуся в Англии другу. В 1933 году эти письма-очерки были опубликованы в журнале The New English Weekly. В 1934 году была издана книга, но она не привлекла особого внимания — ни тогда, ни позднее. А жаль. В биографиях Трэверс «Московская экскурсия» почти не упоминается, исследователи если и вспоминали о ней, то ограничивались лишь пересказом содержания[46]. В России же этот визит прошел и вовсе незамеченным. О посещениях нашей страны зарубежными писателями мы знаем и помним, но Трэверс в ту пору еще не могла тягаться славою со знаменитостями. А вот то, что «Московскую экскурсию» не удалось найти ни в одной российской библиотеке, само по себе странно, учитывая неизменный ревнивый интерес русских к тому, что о них пишут за границей. Так что все, что связано с этой поездкой, до сих пор во многом остается большой загадкой. Хочется надеяться, что публикация русской версии книги привлечет внимание к этому свидетельству очевидца исторических событий и, возможно, восполнит пробелы в истории русско-британских культурных связей.

Самый первый вопрос: что побудило Памелу Трэверс отправиться в далекое путешествие? Конечно, интерес к стране, совершившей революцию, в мире был огромный. Не секрет, что советское руководство немало делало для того, чтобы привлечь в СССР гостей из-за рубежа и, показав им парадную картину жизни, превратить в сторонников своей политики, ее защитников и адвокатов на Западе[47]. Активная работа шла по линии профсоюзов, но и либеральная интеллигенция, особенно деятели искусства, пользовалась вниманием и почетом: новые власти прекрасно сознавали влияние литературы на формирование положительного образа Страны Великого Эксперимента[48]. В 1920-е по инициативе большевиков активно создаются общества дружбы с Советской Россией (в Великобритании — в 1924-м). В 1929-м появляется «Интурист» — специальная организация по приему иностранных гостей, в обязанности которой вменялась в том числе и слежка за ними. Немало известных деятелей культуры побывало в СССР и оставило восторженные воспоминания. Причем были это не только люди прокоммунистических убеждений, увлеченные пусть утопическими, но благородными идеями постройки нового справедливого миропорядка, а и трезвые реалисты вполне

умеренных взглядов — столь велико было желание верить в чудесное преображение.

Среди наиболее известных почетных гостей были писатели Анри Барбюс, Леон Фейхтвангер, Катарина Сусанна Причард, Бернард Шоу, они оставили весьма благожелательные отзывы.

Однако голос молодой журналистки и будущей писательницы выбивается из общего хора славословий. Памела Трэверс увидела совсем другую, не парадную страну, при этом опубликованный ею отчет о поездке поражает точностью видения и трезвостью оценок. Независимость суждений была свойственна писательнице, это отмечали все, кто был с ней знаком. Как сложилась эта самостоятельная особая позиция — вот что интересно.

Чтобы приблизиться к ответу, необходимо хотя бы вкратце представлять жизнь писательницы до поездки. Это несомненно поможет нам понять ее характер.

Итак, Памела Линдон Трэверс, истинное имя — Хелен Линдон Гофф (Helen Lyndon Goff), родилась в Австралии в 1899 году в семье мелкого банковского служащего. Ее отец — Трэверс Роберт Гофф — едва сводил концы с концами. Но в жизни будущей писательницы именно отец стал ключевой фигурой. У Трэверса Гоффа был талант — он был мастер сочинять истории. Дочка заслушивалась этими рассказами и постепенно придумывала свой мир, столь же романтический и фантастичный. Истинную историю семьи Памела Трэверс не рассказывала никому; став взрослой, она сочинила свое детство заново — сделав его более счастливым и беззаботным: жизнь любимой всеми девочки на богатой ферме — так она его представляла другим и, возможно, постепенно начинала верить в эту сказку сама. Именно Трэверс Гофф пробудил в дочери любовь к родине предков — Ирландии, земле поэтов и героев, эльфов и фей, он научил ее мечтать и следовать своей мечте.

В 1907-м отец умирает, семья с трудом балансирует на грани нищеты, мать с детьми переселяется к родственникам. Старшей дочери рано приходится учиться заботиться не только о себе, но и помогать матери и сестрам. Хелен ищет работу, она начинает выступать в театре (не без успеха) и пробует себя в журналистике. В это время она выбирает в качестве псевдонима имя отца — так родилась Памела Линдон Трэверс, или, как настойчиво требовала называть себя писательница — Памела Л. Трэверс. Однако юная дебютантка мечтала не столько о сцене, сколько о том, чтобы попасть в край своих предков — Ирландию, о которой ей столько рассказывал отец.

Ради воплощения этой мечты Памела Трэверс в феврале 1924 года покидает Австралию и отправляется в плавание к берегам Британии. Ее заветная цель — Ирландия,, но попадает она сначала в Лондон. Рассказывая о прибытии в английскую столицу, она повторяла одну и ту же фразу: «В кармане у меня было десять фунтов, пять из которых я сразу потеряла»[49]. В «кармане» Трэверс были не только десять фунтов, но и рекомендательные письма, полученные от австралийских периодических изданий, с которыми сотрудничала молодая журналистка; ее представляли так: «Мисс Памела Трэверс, один из наиболее ценимых наших авторов, отправляется в Лондон, чтобы писать о театрах и околотеатральных событиях, брать интервью у прославленных драматургов и продюсеров»[50]. Таким образом, на первых порах Трэверс живет на доходы от своих австралийских публикаций. Главная тема ее статей того времени — обзоры театральной жизни, в которую юная Памела погружается с головой: «...ее жизнь представляла собой водоворот премьер и интеллектуальных событий. Она находит „Питера Пэна“ „пьесой столь наивной и увлекательной, что лишь человек с каменным сердцем (а у нее самой сердце не камень) способен спустить на нее демонов критики“, во все глаза следит за цирковым выступлением в Хрустальном дворце, смотрит постановку „Макбета“ в современных костюмах, слушает оперу в Ковент-Гарден, читает новую биографию Шарлоты Бронте, разучивает новый танец хиби-джиби, куда более модный, чем черная задница или йельский блюз, но ложится спать с Платоном»[51]. Даже этот ироничный комментарий биографа дает нам представление о том, сколь любознательна, любопытна и энергична была будущая сказочница в эти годы. И сколь экстравагантна и предприимчива.

В это же время Памела Л. Трэверс пробует себя на поэтическом поприще, посылает стихи в различные редакции и таким образом оказывается автором знаменитого Irish Statesman — литературного журнала, который издавал в Дублине ирландский поэт и философ Джордж Уильям Рассел[52]. С ним у Памелы завязывается дружба, продлившаяся многие годы. Рассел стал для Трэверс главным учителем и вдохновителем, близким и дорогим человеком. Он весьма высоко оценил журналистские таланты своей молодой протеже: «Она великолепный журналист, обладающий ярким пером, особенно хорошо ей удаются статьи о драме и литературе, но она также может писать о текущих событиях и политике...»[53]. Однако никаких свидетельств увлечения Трэверс коммунистическими идеями мы не находим.

Знакомство с Дж. У. Расселом позволило молодой девушке

войти в круг ирландской интеллектуальной элиты того времени, познакомиться с Уильямом Батлером Иейтсом, Джеймсом Стефенсоном, Оливером Сент-Джоном Гогарти (который потерял голову от молоденькой поэтессы и посвятил ей немало стихов) и др. У Рассела Трэверс впервые услышала и о теософских учениях[54]. В середине 30-х годов она увлечется философскими теориями Георгия Гурджиева, выходца из России, и станет его верной последовательницей.

Известно, что Россия и русская культура всегда интересовали писательницу. Есть свидетельства, что Памела Трэверс очень хотела, чтобы книги о Мэри Поппинс перевели на русский язык, ей это было важно. Получив русское издание, она с гордостью показывала его журналистам[55].

В 20-е годы Памела Л. Трэверс совершила несколько поездок в континентальную Европу, побывала в Испании, Италии, Франции. Но желание отправиться в Советскую Россию выглядит все же чересчур экстравагантным. В биографиях писательницы эта поездка (как и книга о ней) удостаивается лишь скупых упоминаний. Меж тем само это решение не может не вызывать удивленных вопросов: зачем отправилась Трэверс в Россию? Почему именно в Россию? Весть о том, что молодая женщина в одиночку собирается совершить столь рискованное путешествие, казалась по тем временам неслыханным безрассудством. И в то же время, конечно, посещение новой России было весьма заманчивым. Трэверс сама признается в этом: «Просто удивительно: никто не может спокойно слышать даже упоминание о России! Все либо фанатично за нее, либо столь же фанатично против. Моя предстоящая поездка либо шанс всей моей жизни, либо совершенное безрассудство».

Было у этой поездки и еще одно отягчающее обстоятельство: в начале 1930-х Трэверс серьезно заболела. У нее диагностировали туберкулез, весну 1932 года она провела в санатории, а потом вынуждена была жить в деревне, так как Лондон был вреден ее здоровью. И все же, едва окрепнув на деревенском молоке и яйцах, она внезапно собирается в Россию! Это решение удивило и встревожило ее друзей. Джордж Уильям Рассел, узнав о ее планах, писал ей: «Отчего ты, мотылек, так стремишься обжечь свои крылышки?»[56]

Впрочем, Трэверс постаралась максимально подготовиться к поездке: она купила туристическую путевку, чтобы путешествовать в группе, но, главное, постаралась заранее изучить всё, что можно было узнать о Советской России, находясь в Британии. Она свела знакомства в литературном окружении Джорджа Рассела с теми, кто побывал в России. Что это были за

люди, мы можем лишь предполагать. Возможно, входивший в этот круг ирландский писатель Лиам О'Флаэрти, он побывал в России весной 1930 года и опубликовал в 1931 году книгу о своих впечатлениях. Еще более вероятно, что это был ирландский писатель Хуберт Батлер, сотрудничавший с Расселом, он изучал русский язык и также побывал в России в 1931 году.

Конечно, немало сведений молодая путешественница могла получить и из текущей прессы. Советская Россия постоянно была в центре внимания современников и соотечественников Трэверс. Английские газеты много писали о стране большевиков — варварской, возмутительной, опасной, но загадочной и манящей, а для многих и вселяющей надежду на обновление. В 1932 году Джордж У. Рассел начинает издавать новый журнал The New English Weekly, на страницах которого также появляются и материалы о России. Трэверс сотрудничала с этим журналом и, конечно, читала эти публикации, в которых преобладал скептический или даже критический настрой.

Но в целом сторонников и противников Советов было примерно поровну. Защитники великого социального эксперимента с жаром вступались за коммунистов. Вот лишь несколько имен.

Артур Рэнсом, переводчик сборника русских сказок (1916), ставшего ныне классикой английской детской литературы, а впоследствии — знаменитый писатель, оказался в качестве военного корреспондента в России в годы Первой мировой войны. Он с энтузиазмом принял революцию, водил знакомство с многими видными большевиками, женился на секретарше Троцкого Евгении Шелепиной и, говорят, играл в шахматы с самим Лениным. Вернувшись в Англию, Рэнсом издал книгу очерков «Шесть недель в России в 1919 году» (1919), где попытался дать объективную картину событий, свидетелем которых оказался волею судеб. Рэнсом сознавал, что стремление к объективности придется не по душе и правым, и левым. Так и вышло.

Великий фантаст Герберт Уэллс также предпринял поездку в Россию в разгар Гражданской войны и послереволюционной разрухи. В книге «Россия во мгле» (1921) он описывает контраст между имперской Россией и молодой Советской республикой, рисует широкую картину жизни государства и общества. В отличие от американского журналиста Джона Рида, также писавшего о России этого времени, Уэллс относился к попыткам построения в стране нового общества довольно скептически. Известна его характеристика В. И. Ленина — «Кремлевский мечтатель».

Знаменитый философ Бертран Рассел посетил Советскую республику в 1920-м. Во время поездки он познакомился с Лениным, Троцким, Горьким и Блоком. Ему удалось встретиться также с представителями оппозиции и простыми людьми. Увиденное привело к разочарованию философа в большевизме. В книге «Практика и теория большевизма» (1920) Б. Рассел писал: «Если большевизм окажется единственным сильным и действующим конкурентом капитализма, то я убежден, что не будет создано никакого социализма, а воцарятся лишь хаос и разрушение. <…> Большевизм не просто политическая доктрина, он еще и религия со своими догматами и священными писаниями».

За год до путешествия П.Л. Трэверс Британию всколыхнула скандально знаменитая поездка в Советскую Россию Бернарда Шоу, прошедшая с великой помпой. Знаменитый драматург прибыл в Москву 21 июля 1931 года, «на вокзале его приветствовала толпа народа — там были оркестр, флаги, почетный караул, депутация советских писателей, представители рабочих, дипломаты»[57]. Писатель отпраздновал в России свое 75-летие, на торжественном собрании в Колонном зале Дома Союзов А. В. Луначарский произнес речь в его честь. В России Бернард Шоу посетил театры и заводы, колхозы и трудовую колонию для несовершеннолетних в Болшево, присутствовал на бракоразводном процессе и пр. Вернувшись, он высмеивал тех, кто боялся ехать в Россию: «В течение десяти дней мне обеспечили превосходные условия для жизни и путешествий, я ни разу не столкнулся с чудовищной бедностью, царящей в нищих кварталах капиталистических городов. <…> Когда собираешься в Россию, друзья уговаривают не ехать. Это опрометчиво, говорят они, вы умрете с голода. Вас съедят вши. Вас заберут в Чека, или расстреляют, или, как выражаются сами русские, „ликвидируют“. Всех женщин в вашей группе „национализируют“. Вы увидите не то, что захотите, а то, что вам подсунут, у них это называется „потемкинские деревни“»[58].

Восхищаясь энтузиазмом советских граждан, Шоу в беседе со Сталиным назвал большевизм новой религией (повторив тем самым точку зрения Б. Рассела). «Я очень позабавил Сталина, откровенно признавшись ему, что воспринимаю большевизм как религию. Россия — религиозная страна. Они решили, что мы шутим, когда говорим, что Третий Интернационал — это Церковь. Однако мы и не думали шутить. По своему религиозному воздействию Третий Интернационал, на мой взгляд, очень похож на фабианский социализм»[59].

Писатель остался весьма доволен установившимся в России

порядком, оправдывал тактику террора, которую применяли революционеры в борьбе за власть, восхищался девушками, разгружавшими вагоны, и возмущался нищетой крестьян-единоличников, живущих в «собачьих конурах». Бернард Шоу не заметил голода, который царил в стране: ведь его самого ожидали роскошные апартаменты и открытый счет в Государственном банке, где его заверили, что оплатят чеки на любую сумму. Рассказы Шоу об СССР были настолько противоречивы и в то же время полны энтузиазма и восторга, что, несомненно, подстегнули интерес публики, среди которой наверняка была и Памела Трэверс.

Вернувшись в Англию, Бернард Шоу многократно выступал в различных аудиториях и в печати с рассказами о своих впечатлениях. 5 августа он прочитал лекцию для слушателей летних курсов Независимой лейбористской партии, которую озаглавил «Единственная надежда мира» — так он представлял себе Советскую Россию. «Всякий, у кого есть возможность, должен поехать в Советский Союз. <…> Страна эта полна неожиданностей», — убеждал Шоу.

Как знать, возможно, именно эти «неожиданности» и манили Памелу Л. Трэверс, когда она собиралась в поездку. «Тех, кто не бывал в Советской России, подобные рассказы заставляют поверить в то, что туристам там показывают все самое лучшее. Вот и я, отправляясь в Россию, верила (сколько меня ни отговаривали) этим рассказам», — признается она в предисловии к своей книге. Впрочем, с первых же страниц становится ясно, что Трэверс не долго тешила себя иллюзиями: «Каково же было мое разочарование, когда я поняла, что во всех этих историях правды нет ни на грош! Настоящая Россия (которую все, кроме безнадежных романтиков, должны считать лучшей Россией) тщательно скрывается от глаз праздных простаков-туристов, как содержимое священного реликвария от обычных сынов Израилевых».

Что ж, молодое Советское государство притягивало к себе любопытные взгляды многих иностранцев. «Множество путешественников приезжало, чтобы увидеть то, что они хотели увидеть, найти подтверждение взглядам, которые у них уже были, и мнениям, которые у них сложились до поездки. Они смотрели на все через призму, которая пропускала лишь то, что им хотелось увидеть, и так мечтали об идеале, что не подвергали сомнению то, что им показывали»[60].

Однако не такой была Памела Л. Трэверс! Она путешествовала в группе британских туристов, где большинство составляли представители тред-юнионов: рабочие, учителя,

фермеры, но были и интеллектуалы, в книге автор называет их Первый, Второй и Третий Профессора. Все они настроены очень позитивно к Советской России, чего нельзя сказать о самой Памеле Трэверс. С первых страниц книги она старается войти в образ легкомысленной туристки, но с трудом удерживается в этом амплуа: «Увы, мне нет дела до политики. Но, похоже, никто и представить себе не может, что человек, не являющийся ни поклонником, ни противником советского режима, вздумал побывать в этой стране».

О том, что путешествие в СССР воспринималось как рискованная причуда, свидетельствуют советы, которые получала от друзей Трэверс накануне отъезда: одни рекомендуют ей взять револьвер, другие -лыжи, третьи — лимоны. Последнее кажется особенно странным, но именно этому совету Трэверс последовала и не пожалела об этом.

Поездку организовал «Интурист». Это была обычная туристическая группа, а не делегация, поэтому спутники Трэверс не удостоились того уровня гостеприимства, который сопутствовал поездкам почетных визитеров. Сохранилось немало воспоминаний о том, как известные (и нужные Советам) путешественники встречали в СССР невиданно радушный прием: каждый их шаг сопровождали гиды и переводчики, им оказывались неимоверные почести, они ни в чем не знали нужды.

Трэверс описывает совсем иную ситуацию. Их группа путешествовала «вторым классом», поэтому почести им не полагались, зато пропагандистская обработка проводилась по полной программе. Она начинается еще на корабле, где к услугам пассажиров красный уголок с плакатами и изваянием вождя, библиотека, полная агитационных брошюр, и даже кинозал, где показывают кинохронику и «антибуржуазный» художественный фильм. И вот здесь начинаются первые загадки, которыми книга начинена, как булочка изюмом.

Что это был за фильм, Памела Л. Трэверс не пишет. Все имена в тексте зашифрованы, опущены названия многих мест, исторических памятников. Вот и говоря о фильме, она ограничивается лишь небольшой ремаркой и описанием последней сцены, «когда темные воды Невы поглощают кресло, граммофон и бутылку пива». Можно ли узнать, о какой картине идет речь, по столь крошечному свидетельству? Оказалось, можно.

Я обратилась за помощью к историку отечественного кино Наталье Нусиновой и послала ей коротенькую цитату — всё, что у меня было. Честно говоря, не рассчитывала на удачу. Но ответ пришел почти сразу! «Допустимо предположить, — написала мне

известный киновед, — что это „Похождения Октябрины“ — один из самых безумных и захватывающих фильмов в истории советского кино». То есть речь идет о картине Григория Козинцева и Леонида Трауберга, созданной в 1924 году (вышла на экраны в 1925-м). Фильм, увы, не сохранился, остались лишь текст сценария, фотограммы и рассказы очевидцев. Так, Юрий Тынянов воспоминал одну из запомнившихся ему сцен, в которой герои «ездят на велосипедах по крышам» в Ленинграде. «По сценарию в финале в реке плавает бутылка, — уточнила Н. Нусинова, -но граммофон и кресло также уместны, возможно, что в самом фильме выбросили и их, т.к. это более наглядно. Все три эти предмета в фильме — предметы „старого быта“, вот их и выбросили»[61]. В годы войны копия фильма, хранившаяся в архиве в городе Пушкине под Ленинградом, сгорела, картину так и не восстановили. Мы уже никогда не увидим «Похождения Октябрины», а вот Трэверс — видела! И таких зашифрованных находок в книге немало!

Первый город, куда попадают английские туристы, — Ленинград. Памела Л. Трэверс отдает должное красоте Северной столицы: «Это поразительно красивый город! Светлые изысканные дома и дворцы растут словно цветы на широких грядках улиц — по крайней мере, так чудится поначалу. Морозно-синяя, огненно-синяя Нева кажется тверже, чем воздушные мосты над ней».

Но путешественница замечает и противоречия, воплощенные в архитектурном облике города: «Нас окружают два мира: Европа XVIII века и Россия — четкость и дисциплина на одном фланге и варварская необузданность на другом».

Позднее, оказавшись в Москве, Трэверс снова отметит это тяготение России к Востоку. «Священная Москва! Как она кипит и пузырится — в солнечных лучах луковицы куполов переливаются всеми цветами радуги, а ночью кажутся бледными светящимися сферами на фоне звездного неба. Этот поразительный город похож на гигантские кинодекорации. Трудно привыкнуть к его азиатской тяге к окружности. В Ленинграде я этого почти не замечала, но здесь стремление Россини на Восток становится явным. Это движение в обратном направлении, против часовой стрелки, вопреки всем резонам — ведь весь остальной мир уверенно шагает на Запад».

В программе поездки предусмотрены как посещения исторических и культурных памятников, дворцов и музеев, так и, чему явно придавалось большее значение, знакомство с достижениями советской власти. Однако красоты архитектуры,

как и цифры статистики, которыми засыпают туристов, чтобы продемонстрировать достижения социалистического государства, оказываются не в силах распропагандировать П. Л. Трэверс. Она настроена весьма скептически, даже иронично, и не скрывает этого. «Этот Дом культуры почти ничем не отличается от западных политехнических школ, но поскольку мы оказались в России, то увиденное не могло не потрясти нас до глубины души. Конечно, там была и комната для антирелигиозной пропаганды, где нам втолковали, что Зевс обратился в дым, а крест — в прах, это произвело на всех неизгладимое впечатление».

Трэверс замечает многое из того, что не желали видеть ее современники. Некоторые сцены из ее очерков настолько отличаются от свидетельств других, более «важных» иностранных гостей Страны Советов, что воспринимаются как пародия на них.

Описывая посещение яслей — козырного экскурсионного объекта «Интуриста» — Трэверс отмечает, что «увиденное смутило даже Профессоров. В комнате для двухлеток несколько маленьких старичков сидели за столом и старались не пролить кашу на свои передники. Они выглядели серьезными и угрюмыми, словно понимали смысл плаката, протянутого через всю комнату. Гид перевела его для нас. „Игра — не забава, а подготовка к труду“. Так-то, детки! <…> Ясли отнюдь не блистали чистотой, и я невольно задавалась вопросом: зачем нам выдали халаты — чтобы защитить детей от нас или нас от детей? Полагаю, скорее последнее».

Кажется, что порой издевка Трэверс балансирует на грани абсурда, однако на самом деле авторские комментарии всегда уместны и разумны, несмотря на их нарочитую парадоксальность. «Самое счастливое место, которое я видела в России? — это московская тюрьма. Нет, правда. Живи я в России, меня туда бы как магнитом тянуло. <…> Несмотря на грязь и невзрачность обстановки, лица заключенных сияли радостью. А почему бы и нет? Антиобщественный поступок, который привел их за решетку, стал для них глотком свободы, позволив вырваться из общей массы. Проявление индивидуальной воли, видимо, воспринимается в России так же, как приступ запоя на Западе: это огонь, который очищает».

Скепсис автора — не интуитивное предубеждение, но основанные на осведомленности о том, что происходит в России, сомнения в разумности происходящего, а порой и осознание опасности предпринимаемых реформ. Трэверс не огульно против, нет — она пытается понять, разобраться, как устроено это новое государство. И настолько ли оно новое?

«…Профессор настойчиво пенял мне, что я неверно понимаю

главную задачу поездки. Передо мной раскрыли, образно говоря, учебник коммунизма для умных женщин, а я не желаю воспользоваться такой возможностью… <…> На самом деле этот русский эксперимент представляется мне слишком важным, и негоже нам таращиться на него, словно выводку любопытных цыплят.

— Важным? Так вы признаете это?

Конечно, признаю. Но в то же время он кажется мне ужасно несовершенным, ужасно старомодным, ужасно буржуазным. <…> Согласись я признать это идеалом, мне бы пришлось исключить все прочее, а поступи я так — как смогу стать коммунисткой в полном смысле этого слова? Мне мало части, мне нужно все».

И все же в глубине души Памела Трэверс лелеет надежду найти те потрясающие достижения, о которых она была наслышана еще до поездки. В любом случае — в Советской России происходили удивительные события, которые будущей писательнице, наделенной решительным характером и пытливым умом, хотелось увидеть самостоятельно. Что же она увидела? Или точнее — что ей позволили увидеть?

Иностранным туристам предписано строго следовать одобренному «Интуристом» маршруту — никаких отклонений. «Нас не пускают в Кремль. Там сидят ОНИ — вот в чем причина. Но ведь Кремль такой огромный! Почему бы ИМ не занять одну часть и позволить нам осмотреть другую? Нет, ОНИ — повсюду. Обсуждают, поди, советскую пропаганду за рубежом, так что возгласы туристов̂не должны им мешать. Мы обречены бродить вдоль красных зубчатых стен — какой суровый приговор! Впрочем, Москва вообще суровая: ее форма и цвет, то, как она разлеглась у темной реки и взбирается на Кремлевский холм. Громкий бесцветный голос гида только усиливает это впечатление».

Совершенно неожиданно англичанам запрещают поездку в Нижний Новгород, несмотря на то, что она была в программе тура. Возможно, это было связано с желанием скрыть от иностранцев царивший в России голод. Но Трэверс стремится увидеть подлинную жизнь, а не туристическую витрину. «Вот если бы можно было путешествовать по России в одиночку! Перспектива все время находиться в группе под присмотром гида деморализует. Пропадает всякий интерес и желание, к тому же для столь малообразованной особы, как я, постоянная культурная повинность весьма утомительна. Да еще этот нескончаемый поток статистических данных! Сколько комнат, сколько возможностей для рабочих! Дом культуры взирал на нас с изумлением. И не

удивительно. Группа людей, одержимых мрачной решимостью развлекаться любой ценой, наверняка выглядела странновато».

Увы, интуристы не только вольны не выбирать себе маршрут, но и находятся под постоянным приглядом. Впервые с сотрудником Чека Трэверс встречается в Ленинграде, когда приходит в гости к своим знакомым. Чекист оказывается «интеллектуалом»: «Он сообщил мне, что влюблен в английскую литературу, и несколько раз спрашивал, не знакома ли я с Мэтью Арнольдом». Уже в Москве Трэверс жалуется на то, что ее переписку читают и что ей не дают позвонить в Ленинград. Она подозревает, что за ней следят: «Я заметила, что за мной следят, то есть следят за всеми нами. Конечно, мои спутники с тех пор, как мы оставили Лондон, постоянно твердили мне, что в России никто и шага не может ступить без того, чтоб об этом не стало известно в Чека — всем, от мелкой сошки до начальства. Но я смеялась над ними. Мне казалось, это уже чересчур: какая трата времени для Чека!»

И все-таки Трэверс удается заглянуть за фасад советских потемкинских деревень. Глазами иностранной туристки мы видим явные приметы голода (которого не заметил Бернард Шоу!), нехватки продуктов и топлива, очереди. «Вдоль всех улиц тянутся очереди за продуктами. Люди стоят молча и серо. Их выносливость поразительна. На лицах застыло постоянное отсутствующее выражение, словно они находятся под наркозом. Это голод? Может, они и в самом деле, как утверждают антикоммунисты, питаются лишь лозунгами и мечтами об обещанном им рае на земле?» Вместе с автором мы встречаем голодных детей-попрошаек в «образцовом колхозе», посещаем не только музеи и театры, но и судебные слушания и даже церкви.

«В церкви нас тоже не пускают, мы можем лишь снаружи любоваться их сверкающими куполами-луковицами. Нам постоянно твердят, что церкви закрыты или превращены в спортивные залы. Вчера, пока гид растолковывала Фермеру-Птичнику какой-то исторический сюжет, я все же прокралась за ее спиной и прошмыгнула в мозаичную дверь в освещенный свечами полумрак. Шла служба, церковь была полна народу. Какой-то силуэт отделился от толпы и, словно призрак, направился ко мне. На женщине была обычная не поддающаяся описанию одежда, ноги обмотаны тряпьем, чтобы удержать остатки туфель. Она испуганно и торопливо заговорила со мной по-французски. У меня сжалось сердце! Я протянула ей несколько рублей, она поспешно спрятала их под лохмотьями и снова упала на колени. Хорошо, что у меня нашлось, что ей дать, — этот вечный

высокомерный отказ принять хоть что-то иссушает душу. „О, мы поглотили их!“ — беззаботно ответила гид, когда я спросила ее, что же произошло со старыми русскими. Что ж, полагаю, „поглотили“ такое же подходящее слово, как и любое другое».

Картина жизни Советской России, открывшаяся Трэверс, оказывается необыкновенно разнообразной. И необычайно безрадостной. «Фабрики, ясли, тюрьмы — не кажется ли вам, что это похоже на безумный ночной кошмар?»

Большевизм и его лидеры отталкивают П.Л. Трэверс своей нечеловечностью. Вот англичан приводят в Смольный. С благоговением осматривают они комнаты, где жил великий вождь революции. Из всей группы лишь Трэверс воспринимает все иначе: «В этой комнате царила пустота, и причиной ее было не только отсутствие хозяев. Может, и когда Ленин жил здесь, комнате все же чего-то недоставало — тепла, солнца? Гений — это свет и пыл. Обладал ли Ленин этим редким двойным огнем? Или он сгорел в яростном пламени одной-единственной идеи?

Но стылость этого места, его обнаженный рационализм! Просто не верится, что именно здесь вырвалась на волю новая мировая сила. А если и верится, то лишь с ужасом. Неужели человечество стремится вот к этому? Зачем тогда вообще нужно человечество, если его цель — обесчеловечивание? Люди как боги? В холодном гулком воздухе эта идея кажется фантастической».

После посещения Эрмитажа, где Трэверс любовалась знаменитыми портретами Рембрандта, она записала: «Вот чего не хватает в России — личного во взгляде! Повсюду тут встречаешь лица застывшие и невыразительные, а глаза стеклянные и пустые. И опасные тоже: под влиянием настроения — жестокого или фанатичного — они способны на что угодно. Как хочется видеть личности, а не личины — эти многократно тиражированные советские маски!»

А ведь именно в это время там же в Ленинграде, уже предчувствуя приближение конца эпохи свободного творчества, писал портреты юных современниц художник Владимир Лебедев. И хотя называл он их весьма романтично: «физкультурницами» и «девушками с букетами», на выходили-то именно «тиражированные советские маски», лишенные жизни и чувства! Правду не скроешь.

Удивительно, но у П.Л. Трэверс всякий раз своя, отличная от общей, точка зрения на увиденное. Она не только отмечает пышную красоту дворцов и гигантский размах советских домов культуры и стадионов, но и серую убогую одинаковость людей на

улице — «Серый, серый, серый — только серый цвет в лицах здешних людей и на небе», — энтузиазм и озлобленность одновременно.

Хотя иностранным туристам в Советском Союзе старались обеспечить особые условия, чтобы они не заметили нужды, царящей в стране победившего пролетариата, спутникам Трэверс приходится нелегко. Но они, с присущей британцам стойкостью, переносят все бытовые тяготы, хотя бремя их становится день ото дня все непосильнее. Трэверс рассказывает, как ей, благодаря полученным от знакомого рублям, удается покупать лук и подкармливать своих спутников. Несколько странным русскому читателю может показаться частое упоминание особой ценности лимонов в России. Памела по совету бывалых путешественников, посетивших Россию до нее, берет с собой в дорогу три дюжины этих фруктов. «Вы помните, нас предупреждали в Лондоне, что русские (осенью) готовы на все ради лимонов?» Это заявление кажется непонятным, даже эпатажным, но его подтверждают другие мемуаристы: лимоны действительно брали с собой английские туристы, отправляясь в Россию — как источник необходимых витаминов и... как своеобразную «валюту». Так что финальная сцена книги, когда спутники Трэверс и служащие советской гостиницы радостно играют лимонами, — не просто эффектная концовка, дописанная ради красного словца, но отражение вполне реальных жизненных обстоятельств того времени.

И все же, работая над переводом, не раз приходилось проверять не только точность собственной интерпретации, но и достоверность фактов, которые сообщает автор. Порой Трэверс сбивается и путает, например, может назвать Петропавловский собор «маленькой церковью», возможно, невольно сравнивая его с Исаакиевским собором или Казанским, или перенести Новгород... на Украину. Впрочем, учитывая то, что в посещении этого города ей было отказано, данное заблуждение можно объяснить и оправдать. И все же к чести автора необходимо отметить: в большинстве случаев мемуаристке удается избежать традиционной «развесистой клюквы».

Примером может служить забавный эпизод с подковами на столе российского императора. Оказавшись в Александровском дворце в Царском Селе, Трэверс отмечает поразившие ее детали обстановки: «В кабинете царя Николая гид, возмущенно вздернув голову, указала на ряд серебряных подков на письменном столе.

— Он был суеферный и нефезучий.

Бедняга, именно так и было. Впрочем, не удивительно: все подковы были повернуты неправильной стороной!» Я

засомневалась: не переигрывает ли тут автор? Что это еще за подковы во дворце? Решила проверить и обратилась к сотрудникам музея. Буквально через пару дней получила обстоятельный ответ, цитирую эту справку как образец великолепной профессиональной работы и творческой поддержки: «Подковы действительно лежали на столе императора, но не на письменном. 1. В Мавританской уборной императора две подковы были прикреплены на стойке для тросточек и на задней стене. Еще в описи комнаты отмечены 6 железных подков. 2. В Гардеробной — „На столе у окна пять соединенных вместе подков из оксидированного железа — подношения офицеров Высшей кавалерийской школы“ (Фомин Н., Александровский дворец. 1935); однако на рабочих столах Николая II в Старом Рабочем и Новом Парадном кабинетах никаких подков не было»[62].

Этот небольшой эпизод оказался важной исторической деталью, а главное, подтвердил: Трэверс можно доверять, и если в тексте что-то непонятно — надо просто тщательнее искать разгадку. На эту работу ушло несколько лет, но зато как это увлекательно!

В записках Памелы Л. Трэверс можно найти следы переклички, возможно невольной, с другими мемуаристами. Так, в одном эпизоде Трэверс как бы вступает в заочную полемику с Бернардом Шоу, прославлявшим труд женщин, занимающихся тяжелой физической работой. Она отнюдь не разделяет подобных восторгов и, когда смотрит на киностудии кадры кинохроники: «…девушки-комсомолки с натугой толкают огромные вагонетки с углем (или железом, а может, свинцом) вверх по наклонному скату», не может сдержать возмущения: «Неужели это аллегория пути в рай?»

Или вот еще: самые почетные гости Страны Советов удостаивались чести лично встретиться с вождями революции — Лениным, Троцким, Сталиным. Памеле Л. Трэверс такая привилегия была не по чину, но она все-таки не преминула отметить, что тоже «видела» Сталина, пусть и мельком, пусть и не наверняка — в промчавшейся мимо машине. Сюжет этот явно отражает желание следовать «канону» мемуаров об СССР.

С образом вождя связан и еще один эпизод, изначально представлявшийся неразрешимой загадкой: собираясь на самостоятельную прогулку по Москве, Трэверс заявляет, что отправляется искать «Чингисхана». Как это понять? Откуда в Москве Чингисхан? Может быть, Памела Трэверс смотрела фильм Всеволода Пудовкина «Потомок Чингисхана» (1928)? Известно,

что его показывали в Лондоне в 1930 году, причем с большим успехом. Что ж, вероятно, но недоказуемо. Долгое время этот фрагмент так и оставался без комментариев. Однако помогла неожиданная удача — командировка в Англию с визитом в Кембридж. Там в университетской библиотеке сохранились подшивки The New English Weekly с самой первой публикацией «Писем из России»[63]. Пролистывая старые журналы, я случайно наткнулась на крошечную рецензию, где — о чудо — упоминается Чингисхан![64] Оказывается, в 1932 году в Англии вышел перевод биографии Сталина — Essad-Bey Stalin, the Career of a Fanatic,1932, The Bodley Head. Автор, азербайджанско-немецкий писатель Лев Нуссимбаум, называет Сталина… новым Чингисханом. Если Трэверс и не читала саму книгу, то рецензию на нее читала наверняка. Причем накануне поездки. Так раскрылась еще одна загадка: вот с кем, оказывается, хотела встретиться Трэверс!

Но вот что важно: сколь бы скептически ни была настроена Памела Л. Трэверс, на протяжении всей поездки она не оставляет тайной надежды найти в увиденном ростки нового государства, черты нового человека, рожденного революцией. Временами кажется, что она почти готова обмануться, поверить в иллюзию, однако привычка трезво смотреть на вещи и анализировать то, что видишь, не позволяет ей этого.

Трэверс отмечает необыкновенный энтузиазм людей, с которыми она встречается, но не может найти ему рационального объяснения: «„У нас есть работа“. Работа! Мы на Западе считаем, что тепло и пища — воздаяние за труд, а здесь труд заменяет и то, и другое. Я начинаю понимать почему. В России иметь работу, рабочее место — это признак социальной значимости. Служить Государству — высочайшая моральная доблесть, Государство прекрасно сознает это и использует с максимальной для себя выгодой. <…> Новая Россия исповедует ту же доктрину лишений. Тем временем мир изнывает от изобилия».

Стойкость людей, с достоинством выносящих лишения, вызывает у писательницы уважение. «Сегодня гид рассказала мне, как одна туристка в конце поездки захотела подарить ей пару теплых чулок. „Представляете! Какое оскорбление!“ При этом девушка была так скудно и не по погоде одета! Но эти люди готовы терпеть всё. Уж не гордыня ли это? Какая разница! Мне эта девушка понравилась. Пусть она и путается в исторических фактах — зато как она нас ненавидит! И поделом».

В конце концов Памела Л. Трэверс приходит к выводу, что причина энтузиазма кроется в стремлении советских людей

превратить коммунистическую доктрину в новую религию, фактически заменив одну веру на другую. Верить вопреки очевидному, подтасовывая факты или, скорее, отказываясь их замечать и учитывать. «Советы озабочены не столько атеизмом, сколько тем, как бы, свергнув одного Бога, превознести другого — Человека — и утвердить идеальный Рай здесь и сейчас, Небеса на земле, Ленин как икона и хор ангелов Коммунистической партии. Нет народа более исконно религиозного, чем русские, — просто ныне они обратили свою веру в новом направлении». Вспомним: на религиозный характер идей большевизма указывали многие — и Бернард Шоу, и Бертран Рассел.

Трэверс пытается понять, как, почему манипуляции большевиков массовым сознанием смогли изменить огромную страну. Ответ на свое недоумение она находит… в театре, где ее поражает умение аудитории отдаться иллюзии: «Сидя в русском театре, начинаешь понимать, как Советскому государству удалось довести страну до крайности: добавьте к природной склонности к актерству непрекращающуюся пропаганду и бесконечные плакаты, и вы сможете приручить человека к нынешнему режиму. Афиши, громкоговорители и личная склонность все превращать в театр способны убедить любого, что он играет ведущую роль в большевистском пышном спектакле и что без его участия вся сценическая конструкция Советской России обратится в руины. О, как это хитро придумано, как чертовски хитро! Ленин обнаружил, что медведи могут плясать, а Сталин догадался, как вдеть им в носы кольца, чтобы водить по улицам. Но не скрывается ли где-то там, за всей этой хитроумной эксплуатацией, желание самого медведя, чтобы его водили? Не по собственной ли воле люди выбрали тиранов, которые подыгрывают их самым глубоким инстинктам и освобождают от необходимости думать самостоятельно?»

Дотошной туристке Памеле Трэверс недостаточно было впечатлений, которые предлагал «Интурист», и она на свой страх и риск пускается на поиски «настоящей России». Поразительно: не зная языка, оказавшись лишь на несколько дней в совершенно чужой стране, она успевает увидеть необыкновенно много: посетить театр, киностудию и даже побывать в гостях у совершенно незнакомых людей — это при том, что контакты с иностранцами в то время уже считались нежелательными и подозрительными[65].

Забавно: Памела Трэверс настолько проникается духом времени и места, что в некоторых ее заметках звучат ноты той советской эксцентрики, которая столь знакома нам по литературе и фильмам первых советских десятилетий. Вот, например, этот

анекдот звучит совершенно в духе Ильфа и Петрова, не правда ли?

«Молодой американец, которого я встретила несколько дней назад, рассказал мне, что его друг, тоже американец, возвращаясь на родину, оставил своей русской подруге граммофон. Хотя девушка не была красавицей, на ней тут же женился юный любитель музыки. Однако, став обладателем граммофона, он быстренько развелся и женился на девушке посимпатичнее. На радостях он подарил граммофон новой жене, после чего та, в свою очередь, с ним развелась и выбрала супруга покраше. Ну, и так далее. Граммофон вел весьма легкомысленное существование, перебираясь из одной супружеской постели в другую. Чем все это для него закончилось — неизвестно. Возможно, он скончался от старости и изнурительного труда».

Постепенно становится ясно, что Памела Л. Траверс ехала в Советскую Россию в надежде увидеть не только новое, небывалое государственное устройство, которое восхваляли посетившие СССР интеллектуалы, но прежде всего — новое революционное искусство. То, как она описывает свои впечатления от России, как пытливо всматривается в советскую действительность, как сомневается, спорит сама с собой, перебирает свидетельства и факты, со всей очевидностью говорит о том, что она готовилась к этой поездке, не только собирая физические силы, но и изучая страну, которую собралась посетить, -ее политику и культуру. Нетрудно догадаться, что Трэверс, видимо, составляла свое представление о СССР не столько из газетных статей, сколько основываясь на тех сведениях, которые получала от своих знакомых и друзей — представителей британской и ирландской культурной элиты того времени. Кто были ее «осведомители», советчики и рассказчики? Под чьим влиянием формировалась ее точка зрения? Кто снабдил ее рекомендательными письмами? Мы не знаем. Возможно, ответ на этот вопрос мы могли бы найти в сохранившейся переписке тех лет, но она находится в университете Сиднея и пока ею никто всерьез не занимался.

Чтение книги Памелы Л. Трэверс неизбежно подводит к вопросу: а каковы вообще были культурные взаимоотношения Британии и Советской России в то время? Существовали ли какие-то связи, поездки, встречи, гастроли? Кто были те русские люди, которых, возможно, Трэверс или ее знакомые встречали в те годы в Британии? Увы, эта страница культурных связей двух стран тоже очень мало изучена[66].

«Московская экскурсия» написана в форме писем оставшемуся в Англии другу, про которого известно лишь то, что

он разделяет взгляды Трэверс, а также участвовал в подготовке ее путешествия. Возможно, этим другом был Джордж У. Рассел, Трэверс находилась с ним в постоянной переписке. Тогда именно он снабдил ее адресами некоторых общих знакомых: режиссеров, драматургов, поэтов, с которыми писательница встретилась во время поездки. Кто они — можно лишь предполагать. Имена всех персонажей автор книги скрыла, оставив лишь одну-единственную букву-инициал. Мы даже не можем быть уверены, что эта буква на самом деле совпадает с начальной буквой реального имени или фамилии, скорее всего — нет. Памела Трэверс указывает в предисловии: «...хочу отметить, что все персонажи этой книги собирательные, я намеренно дала ,им вымышленные инициалы. Если кто-то узнает здесь самого себя, я позволю деликатно возразить: это ошибка. Наверняка это кто-то другой».

Благодаря тому, что текст тщательно зашифрован, книга Трэверс читается как увлекательнейший культурологический детективный роман, где в роли детектива — сам читатель. Словно не желая выпускать из рук нити расследования, автор посвящает свою книгу... самой себе! Инициалы Х. Л. Г. / H. L. G., указанные в посвящении на титульной странице, вполне допустимо расшифровать как Helen Lyndon Goff / Хелен Линдон Гофф — то есть истинное имя писательницы. Как пишут в романах — круг замкнулся.

Но как хочется приоткрыть конспиративную завесу и, потянув за некоторые ниточки, вплетенные в текст, дознаться — кто же скрывается за загадочными инициалами! Конечно, опираясь на весьма скудные сведения и нейтральные описания, почти лишенные персональных черт, восстановить истинные имена тех, о ком упоминает в тексте Памела Л. Трэверс, -весьма непростая задача. Но попробовать стоит! И вот постепенно из разрозненных фрагментов мозаики начинает складываться цельная картина, где, впрочем, по-прежнему остаются белые пятна.

Первый, кого встречает, оказавшись в России, Памела Л. Трэверс — загадочный Т., англичанин, живущий в Ленинграде. Из текста ясно, что они были знакомы еще в Англии. Т., явно извещенный заранее о приезде Памелы, пришел в гостиницу и отвел ее в гости к русскому — некоему З., у которого жил сам.

Трэверс, видимо, уже была знакома и с З., как и адресат ее писем, которому она сообщает: «Вы помните его по Кембриджу? Русский антикоммунист. Т. живет у него».

В дальнейшем Т. еще неоднократно будет появляться на страницах книги. Кто же скрывается за этим инициалом? Известно, что осенью 1932 года в Ленинграде находился друг

Памелы Трэверс ирландский писатель-эссеист Хуберт Батлер[67], принадлежавший к литературному окружению Джорджа У. Рассела. Батлер интересовался Россией — не только революционными преобразованиями, но и литературой[68]. Он выучил русский язык и в 1930 году перевел на английский роман Леонида Леонова «Вор», а в 1934-м — «Вишневый сад» А.П. Чехова. Батлер отмечал сходство между ирландской и русской культурами. Возможно, это его утверждение также послужило побудительным мотивом для П.Л. Трэверс, подтолкнув отправиться в Россию: ведь ее интересовало все, что связано с Ирландией.

Хуберт Батлер был личностью безусловно неординарной: он хорошо разбирался в литературе и искусстве, но увлекался и политикой, был умеренным социалистом и разделял взгляды Бертрана Рассела. Батлер много путешествовал, и в первые пятьдесят лет жизни у него мало времени оставалось на литературу, поэтому признание пришло к нему поздно. Сборники эссе начали выходить лишь тогда, когда их автору было под восемьдесят. Эти издания неожиданно открыли «новое» яркое имя в ирландской литературе. Русскому читателю оно по-прежнему неизвестно, а вот Иосиф Бродский успел высоко оценить талант Хуберта Батлера и его роль в истории литературы. Поэт не только написал послесловие к французскому изданию рассказов и очерков ирландского писателя, где, в частности, отмечал его интерес к русской культуре, но и всячески способствовал изданию его текстов в США.

Возможно, пути Памелы Трэверс и Хуберта Батлера пересеклись в этом путешествии и именно он стал для нее главным проводником по незнакомой стране. Осенью 1932 года Батлер устроился преподавать английский язык в Ленинграде. Он описал эти события в новелле «Учительская бригада»[69]. Позднее Батлер вернулся к этому сюжету и написал новый рассказ «Окно Петра»[70]. Там мы встречаемся с Николаем Михайловичем Архангельским, в квартире которого ирландец жил в то время. Вот как его представляет автор: «Мы получили рекомендательное письмо для Николая Михайловича от моего кузена Вилли де Бурга <…>. Отец Николая был священником в Тифлисе, им пришлось бежать от большевиков в Крым (на короткий период оказавшийся в руках белых). Его сестра вышла замуж за англичанина родом из Ридинга, офицера армии интервентов. Когда большевики захватили Крым, Николая отослали в Англию, где он стал одним из лучших учеников де Бурга. Именно там он впоследствии женился на Конни, студентке того же университета; под влиянием идей интеллектуалов левацкого толка они

сделались коммунистами и решили вернуться к овдовевшей матери Николая в Ленинград»[71]. Не у Архангельского ли в гостях оказалась Памела Трэверс? Хуберт Батлер подробно описывает эту ленинградскую квартиру. «Я пристроил мою раскладушку между печью и окном в той комнате, где мы пили чай летом. Колин диван в другом углу комнаты был покрыт ветхим покрывалом. Все в комнате было старым и мрачным»[72]. Это описание совпадает с тем, которое приводит Трэверс, но она не обращает внимания на убогость обстановки, а радуется гостеприимству хозяев и живому человеческому общению. «Комната красивая: настоящая печь, большие скрипучие стулья, мягкие от старости; на диване, обитом пестрым сатином, валяется пара ботинок; прислуга Аннушка улыбается настоящей искренней улыбкой. Вы бы видели, как я оттаяла! У меня даже уши покалывало, так радостно было вновь услышать настоящую беседу. Мужчины расположились на диване и стульях. Они смеялись! Мед, желтый и липкий, как ириска, и такой же тягучий! Вино в бутылке! Белый хлеб!» Правда, Трэверс называет домработницу Архангельского Аннушка, а Батлер —Любочка, но, похоже, что в тех случаях, когда писательница называет «реальные» имена, они-то как раз и оказываются вымышленными.

В доме Архангельского, или З., как его представляет Трэверс, она знакомится с его друзьями и встречается с «молодым поэтом», который «прочитал по-русски длинное стихотворение об Аспасии». «На слух — звучит хорошо, — хвалит Трэверс, сама начинавшая как поэтесса, но спешит добавить: — Однако стихотворение невозможно опубликовать, потому что это не пропаганда».

Можно ли установить, кто был этот случайный знакомый? Зная лишь одну строчку из его стихотворения — вряд ли. Но тут? снова приходит на помощь рассказ «Окно Петра», где мы находим дополнительные улики. Батлер вспоминает двух друзей Архангельского, которые вместе с ним преподавали в «Морской академии», и называет их фамилии — Лихачев и Егунов.

О Егунове Батлер пишет, что тот был ученым, специалистом по Древней Греции, занимался переводами древнегреческой литературы. «Насколько я могу судить, перевод Егунова и его девяностостраничное предисловие (к „Эфиопике“. — *О. М.*) снискало бы ему признание в Англии. Теперь он переводил Timaeus Платона. Тоже для издательства „Академия“. Но не решался публиковать его. „Два мои друга, — объяснял он мне, — были высланы из Ленинграда: кто-то подслушал и донес, как они в разговоре утверждали, что Платон выше Маркса“»[73]. Не мог ли Егунов быть автором стихов об Аспасии, которые слышала

Трэверс? Проверим.

В результате поисков находим: да, был такой поэт и переводчик — Андрей Николаевич Егунов (1885—1968), писавший под псевдонимом Андрей Николев. Он участвовал в коллективных переводах «Законов» Платона и античных романов: «Эфиопики» Гелиодора и «Левкиппы и Клитофонта» Ахилла Татия. Более того, Андрей Николаевич преподавал в 1932-м в Военно-морском инженерном училище имени Ф.Э. Дзержинского, видимо, его Хуберт Батлер называет «Морской академией». Об удивительной — трагичной и в то же время высокой — судьбе этого почти неизвестного и непрочитанного поэта можно узнать из ряда публикаций последнего времени[74]. Буквально через несколько месяцев после встречи, описанной Трэверс, талантливый филолог был арестован по сфабрикованному делу Р.В. Иванова-Разумника и выслан из Ленинграда. До войны Егунову пришлось жить в Новгороде, откуда в годы оккупации он был выслан в Германию, потом оказался в американской оккупационной зоне, за что, вернувшись в СССР, вновь был приговорен к десяти годам лагерей. После реабилитации Андрей Николаевич работал в Пушкинском Доме и занимался переводами. Собственные литературные произведения А. Н. Егунова при жизни почти не публиковались, как знать — может, где-то в архивах и сохранилось стихотворение об Аспасии?

Такова судьба друга хозяина дома, в котором столь радушно принимали Памелу Трэверс. А как сложилась судьба самого Архангельского? К сожалению, попытки найти сведения об этом человеке долго оставались безрезультатными. Но, учитывая перипетии советской истории, логично было предположить, что интеллектуалы вроде Архангельского вряд ли спокойно пережили репрессии 30-х годов. Наши опасения подтвердились. Обратившись к сайту «Возвращенные имена» фонда «Мемориал», находим: «Архангельский Николай Михайлович, 1902 г. р., уроженец г. Тифлис, русский, член КП Британии в 1924—1928 гг., работник издательства „Вегаар“[75], доцент 1-го пединститута иностранных языков, проживал: г. Ленинград, Чернышев пер., д. 14, кв. 9. Арестован 24 февраля 1938 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 31 августа 1938 г. приговорен по ст. 58-1а УК РСФСР к расстрелу. Приговор не исполнен. Особым совещанием при НКВД СССР 26 июня 1939 г. осужден за „шпионаж“ на 8 лет ИТЛ. Отбывал срок в Севвостлаге. Умер 9 февраля 1940 г.»

Благодаря найденной записи мы смогли узнать точный адрес квартиры Архангельского[76]. Теперь нам известно, куда приходила в гости Памела Траверс: улица сменила название — ныне она носит имя Ломоносова, но дом сохранился.

Заодно надо сказать, что и упоминаемый Батле-ром Лихачев (возможно, он тоже был среди приглашенных гостей, встречавших Трэверс) также оказался реальной фигурой, но поскольку в книге Трэверс о нем не пишет, то любознательным читателям мы можем предложить провести собственный поиск. Жизнь Ивана Алексеевича Лихачева, талантливого переводчика, сложилась не менее ярко и... трагично[77]. Портрет, написанный Хубертом Батлером в рассказе «Окно Петра», несомненно ценное свидетельство к биографии этого человека.

Но вернемся к нашей истории. Вынужденная необходимость для поэтов писать именно «пропаганду», о чем упоминает П. Л. Трэверс, подтверждается уже на следующий день. В компании появляется еще один гость — «высокий, рыжеватый, с маленькими голубыми глазками», когда в его присутствии англичанка попыталась возобновить вчерашний разговор о поэзии, произошел казус: «Я вновь завела разговор, который оборвался накануне. Но поэт на этот раз держался скованно. „Это неважно. Я хотел бы писать агитационные стихи, воспевать Мировое Государство Советов“. У меня глаза на лоб полезли». Т. спешит исправить опасную неловкость и объясняет Трэверс, что новый знакомый — сотрудник Чека. Кто это мог быть?

В рассказе «Учительская бригада» Хуберт Батлер упоминает о входившем в их ленинградский круг офицере Дмитрии 'Кардине, которого называет «человек организации» и характеризует как аморального типа, способного подстроиться под любую идеологию и иерархию, даже самую деспотичную и жестокую. «Всякий раз, как он узнавал у меня новую английскую фразу, я чувствовал себя так, словно меня обворовал карманник»[78]. (В рассказе «Окно Петра» этот персонаж пропадает.) Можно предположить, что именно Кардин мог стать тем «влюбленным в английскую литературу» чекистом, который затесался в компанию Т. и З. и в присутствии которого Т. «держался скованно»[79]. Хуберт Батлер в своих воспоминаниях неоднократно приводит факты слежки и доносительства, которым стал свидетелем, — это было повседневной практикой того времени и воспринималось как неизбежное зло. Однако ленинградские знакомые Трэверс вряд ли были в восторге от подобного щекочущего нервы знакомства с человеком из органов.

Вот как Трэверс описывает свою встречу с «Чека» (в книге он зашифрован не инициалом, а получил профессиональный «псевдоним»): как и полагается агенту, он повсюду следует за иностранцами. Когда Т./Батлер предлагает совершить прогулку по кладбищу, «Чека» увязывается следом, якобы за тем, чтобы «узнать все о жизни и личных предпочтениях „Джулиана“

Голсуорси».

Памела Трэверс вспоминает эту прогулку так: «Заброшенное старинное кладбище выглядело весьма печально: <…> изрядно запущенное, с разоренными надгробиями. Чека объяснил мне, что металлические детали утащили на переплавку, а могилы разрыли воры, искавшие драгоценности и прочие сокровища. Но, несмотря на эти опустошения, место хранило исполненную покоя элегичность. Чувствовалось, что хотя бы тут все пребывают в праздности. <…> Поэт-романтик пришел бы, пожалуй, в восторг от подобного запустения…». Однако Чека явно не разделяет романтического настроения своей спутницы и предлагает отвести интуристку на «советское кладбище».

«Советское кладбище (где похоронены только самые достойные) и правда — шедевр. Оно расположено на территории Александро-Невского монастыря и на первый взгляд похоже на священные захоронения маори. Каждый памятник представляет земные дела усопшего. Так, памятник машинисту был увенчан тремя паровозными колесами, оплетенными цепями. Над могилой летчика установили пропеллеры, а солдату досталась маленькая модель пулемета». Описание очень точное, по нему нетрудно установить, где же побывала Трэверс — это Коммунистическая площадка, возникшая после революции на территории Александро-Невской лавры. До наших дней сохранился и памятник, описанный в книге.

Но, даже залюбовавшись «выгравированным на зимнем солнце монастырем», Трэверс не дает воли романтическим грезам. Она трезвым взглядом осматривает все вокруг и приходит к весьма неутешительным выводам. «Забывшись на миг, я вслух посетовала на то, что монастырские кельи превращены в квартиры. Чека тут же налетел на меня: разве рабочие не заслуживают самого лучшего? Я согласилась. Но, с другой стороны: разве не все заслуживают самого лучшего? Не только рабочие — а люди всех профессий и классов. Чтобы хватило на всех. Это и было бы истинным воплощением коммунизма».

Итак, три инициала раскрыты, а также удалось определить несколько мест, где побывала Трэверс в Ленинграде. Но это только начало: несмотря на то что советские власти всячески стремились ограничивать общение иностранных туристов с простыми гражданами, Памела Л. Трэверс упоминает о посещениях самых разных людей. Имена их также зашифрованы. Кто были те иностранные путешественники, которым удалось побывать в Нижнем Новгороде, о чем с завистью пишет Трэверс? Кто такая В. из Москвы, живущая с подругой в доме без

водопровода, в углу коридора, отгороженном занавеской, и вынужденная носить воду из соседнего дома? Не менее загадочен и «успешный драматург», которого навещает Трэверс в Москве по чьей-то рекомендации. Кто они, все эти люди? Отрывочные сведения вряд ли помогут раскрыть все зашифрованные инициалы, но попытка — не пытка.

Один из наиболее эксцентричных сюжетов в книге — посещение Памелой Трэверс московской киностудии и встреча с режиссером, снимающим фильм о строительстве большого завода. Эта встреча также произошла не случайно, Трэверс пишет своему другу, оставшемуся в Англии: «Вы правильно поступили, дав мне то письмо для киностудии. <…> (т.е. логично предположить, что посетить киностудию Трэверс посоветовал Джордж Расселл. — *О.М.*) Письмо позволило мне встретиться с чрезвычайно необычным молодым человеком из Бирмингема. Он сделался таким болыпи, что даже большевикам кажется чересчур красным, и они стараются его остудить. Не трудно догадаться, что он тоже Директор — режиссер». Кто же это мог быть?

Вот что сообщает Трэверс об этом событии: «Нынче вечером он (режиссер. — *О.М.*) оказал мне любезность, показав несколько черновых сцен из своего нового фильма о Магнитогорске. Он рассказывал о своей работе с таким яростным возбуждением, что слов было почти не разобрать, но я все же поняла: речь идет о каком-то огромном заводе — мир будет потрясен, когда узнает о нем».

Какой фильм мог снимать в 1932 году в Советской России англичанин? А что, если это легендарный фильм «Песнь о героях» голландского режиссёра Иориса Ивенса?[80]

Судьба этого фильма сама по себе необыкновенно интересна. Побывав в 1931 году по приглашению Всеволода Пудовкина в СССР, Ивенс так проникся идеями революционных преобразований, что на многие годы стал убежденным коммунистом. Фильм «Песнь о героях» был призван представить грандиозность индустриальных свершений Советского государства и героический труд советских рабочих-ударников[81]. Завершив съемки, Ивенс увез картину с собой в Голландию. Вскоре «Песнь о героях» увидели во Франции, Бельгии, Германии и других западных государствах, где она имела успех. Чего нельзя сказать о судьбе фильма в Советском Союзе: его премьера состоялась в Москве 2 января 1933 года, но работа голландского режиссера была встречена советской критикой настороженно, ее сочли слишком эмоциональной и явно грешащей формализмом, на который тогда уже началось наступление по всем фронтам.

Фильм был раскритикован за отход от принципов социалистического реализма и на долгие годы положен на полку, Советское телевидение показало его только в 1961 году.

На судьбе фильма в России сказалось, видимо, роковым образом и еще одно обстоятельство: слова песни, звучащей в картине, сочинил Сергей Третьяков[82] — известный в те годы драматург и поэт, поборник «литературы факта». Текст был написан в футуристическом духе и фонетически близок к заумной поэзии, но уже наполнен новыми реалиями. В 1937 году Третьякова репрессировали как «японского шпиона», в сталинской России это означало приговор не только поэту, но и фильму.

Выходит, что и на этот раз свидетельство Трэверс отсылает нас к забытым страницам истории!

Фильм снимали летом 1932 года. Съемочная группа Иориса Ивенса жила в бараке, в таких же суровых условиях, как и рабочие, так что им даже было присвоено звание «бригады ударного труда». На съемках голландский режиссер то и дело восклицал: «Они герои, герои!» Поддавшись общему энтузиазму, царившему не только на ударных стройках, но и охватившему всю страну, съемочная группа Ивенса даже вызвала на социалистическое соревнование своих коллег — группу режиссера Бориса Барнета, работавшего в это же время над фильмом «Окраина». Обе картины должны были быть закончены к годовщине Октябрьской революции.

Восхищаясь грандиозностью строительства, Ивенс, однако, будто не замечает того, что на стройке работало тридцать пять тысяч заключенных, из них пять тысяч детей. Это был период окончательной ликвидации кулачества, что «означало смерть сотен тысяч крестьян, а еще миллионы были депортированы и приговорены к подневольному труду. Эта политика привела к голоду, который унес еще миллионы жизней, особенно в южных регионах России. Ивенс не мог знать всего, но, сталкиваясь с неприятными фактами, он убеждал себя, что это неизбежное зло. Революционное развитие требует жертв. „Я считал, что эти перемены перевернули жизнь (поставили с ног на голову?), что хаос и анархия неизбежны, и сопротивление тоже, и что самое важное — держаться главной линии“, — писал режиссер уже в конце жизни»[83].

А вот Трэверс сразу обращает внимание на трагедию ни в чем не повинных людей!

«Главные герои фильма — молодые русские, их называют комсомольцами, они с откровенной злобой вытесняют друг дружку с работы, чтобы все сделать в одиночку. Я понимаю: это

звучит невероятно, но это и было невероятно. А потом еще „кулаки“. „Это классовые враги! — прокричал режиссер и победно прогудел автомобильной сиреной. — Они хотели из мести поджечь завод. Смотри, настоящий пожар! Это моя работа!“ Комсомольцы, если судить по тому, с какой энергией они били в колокол (режиссер ловко отбивал такт у моего правого уха), раскрыли козни классового врага. А заодно расправились и с их детьми (жалобный плач сливался с воем сирены). Потом они с оглушительным грохотом вновь взялись за классовую борьбу». Удивительный парадокс: режиссер-документалист закрывает глаза на факты, а будущая писательница-сказочница смело смотрит в глаза страшной правде!

Англичанин, с которым встречалась Трэверс, с гордостью демонстрирует ей различные инструменты: «Звуковые эффекты пока еще не смонтированы, но режиссер уже припас для озвучания огромный медный барабан, деревянную трещотку, большой церковный колокол, автомобильную сирену и свой могучий голос в придачу». Известно, что при работе над фильмом Ивенс большое значение придавал звуковым экспериментам: звуковое кино тогда еще только начиналось. Вот что пишет об этой работе исследователь творчества Ивенса С. Дробашенко: «„Песнь о героях“ можно скорей всего сопоставить со снятой на два года раньше „Симфонией Донбасса“ Дзиги Вертова. Как в изобразительной трактовке образов людей и индустриальных объектов, так и в использовании синхронных записей звука эти произведения очень схожи. Близки они и по специфическим монтажным приемам, передающим патетику труда, по отдельным ракурсам съемки. Обе эти картины для тех лет были наиболее значительными явлениями мирового документализма в решении темы индустриализации, в отображении на экране гигантского исторического процесса созидания новой жизни»[84]. «Вместе с синхронной записью человеческой речи Ивенс использует различные производственные звуковые шумы. Несмотря на отсутствие дикторского текста, фильм очень полон, богат по звуковой партитуре. Он насыщен естественными „голосами жизни“: шумом бура, плеском воды, свистом пара, стуком моторов, шуршанием скатывающихся по железу кирпичей. <…> Синхронная запись звуков подкрепляла художественное воздействие зрительного ряда фильма, создавала яркое ощущение подлинности жизни»[85].

Осенью 1932 года И. Ивенс вернулся в Москву. Фильм был готов к 1 октября. Окончательный монтаж делали на студии «Межрабпомфильма», которая находилась на окраине Москвы на месте нынешней киностудии имени Горького. Именно там и

произошла встреча П. Л. Трэверс и анонимного режиссера. «Киностудия находилась в нескольких милях от Москвы», — пишет Трэверс и сообщает, что возвращается оттуда на трамвае. Но с кем именно она встречалась? С самим Йорисом Ивенсом? Тогда почему она называет его англичанином из Бирмингема? Снова шифровка? Может быть, они с Ивенсом и правда встречались в Англии? Это вероятная гипотеза: известно, что голландский режиссер снимал в 1932 году в Лондоне демонстрацию рабочих. Эти кадры должны были стать вводной сценой фильма о Магнитке. Но все же это не делало его «англичанином» в полном смысле слова. Нет ли других кандидатур? Оказывается, есть. Съемочная бригада фильма была интернациональной, помимо голландского режиссера и его русских помощников там были еще знаменитый австрийский композитор-коммунист Ганс Эйслер, написавший музыку к фильму, и... ассистент звукооператора англичанин Герберт Маршалл. Ивенс характеризует его так: «Долговязый лондонский парнишка, учившийся в Киноинституте»[86]. Видимо, именно он и встречал на студии странную английскую туристку.

Что нам о нем известно? Герберт Маршалл — Herbert P. J. Marshall (1906—1991) — английский театральный и кинорежиссер, в юности увлекся новаторским советским кинематографом, слушал лекции Сергея Эйзенштейна, которые тот читал в Англии в начале 30-х, учился во ВГИКе в Москве, где посещал лекции И. Ивенса, так что попал в съемочную бригаду прямо со студенческой скамьи. Впоследствии Герберт Маршалл вернулся в Англию, но связей с Россией не терял: в 1930—1940-е гг. был активным членом общества дружбы Великобритания — СССР, занимался переводами советской литературы (Маяковский, Евтушенко, Эйзенштейн), в том числе переводил детские книги, которые издавали в Англии во время Второй мировой войны, когда интерес и сочувствие к России были очень велики. С 1966-го по 1979-й Герберт Маршалл — директор Центра советских и восточно-европейских исследований в университете Южного Иллинойса (США). Он оставил уникальную библиотеку и архив, в котором собраны редкие документы, связанные с его пребыванием в Советском Союзе, — дневники, записные книжки, переписка с известными деятелями советского искусства, конспекты лекций Сергея Эйзенштейна и оригинальные рисунки великого режиссера, а также фотографии и черновики переводов, сценарные планы спектаклей и аудиозаписи интервью с советскими поэтами и писателями. Все это вдова режиссера, скульптор Фредда Бриллиант, передала в 1990 году в библиотеку университета Нотр-Дам (США).

Несмотря на все старания режиссера представить грандиозность своего замысла случайной зрительнице, фильм произвел на Памелу Трэверс обратное впечатление: «Я осталась одиноко ждать этого далекого трамвая. Было темно и тревожно, но я была так изранена, что у меня не было сил бояться. В ушах похоронным звоном звучал голос режиссера: вагонетки со свинцом, сексуальная свобода, торжество женщин. Вагонетки со свинцом, свобода...»

Загадкой, получившей наиболее обстоятельное объяснение, пожалуй, можно считать эпизод с посещением спектакля «Гамлет». Памела Л. Трэверс с юности была увлечена театром и, еще живя в Австралии, сама выступала на сцене. Многие ее журнальные публикации 1920-х годов были также посвящены театру, в том числе знаменитым постановкам Дягилева, которыми она восхищалась. Неудивительно, что и в России Трэверс хотела увидеть новый революционный театр. Но программа «Интуриста» предлагала зарубежным гостям лишь традиционное посещение балета «Лебединое озеро» в Большом театре. Памела Трэверс признается, что была разочарована: «Нам показали не современный спектакль, а „Lac des Cygnes“ в такой устарелой постановке, что мы словно бы вернулись в эпоху царизма».

Памела Трэверс упорно продолжает искать новый театр, и одна, на свой страх и риск, отправляется смотреть «Гамлета». Что это была за постановка? Оказалось, определить несложно. Это сейчас в столичных театрах может идти несколько «Гамлетов» или «Ромео и Джульетт», а тогда, в 1932 году, такая постановка была только одна. Но какая — легендарный спектакль знаменитого режиссера Николая Павловича Акимова (1901—1968) в Вахтанговском театре! Он появился после вынужденного перерыва, так как «Гамлет» считался пьесой реакционной, мистической, не годной для рабоче-крестьянской аудитории[87], всем был известен негласный запрет Сталина, который с подозрением относился к пьесам Шекспира. Сказать, что спектакль вызвал «бурные споры» — значит ничего не сказать. «Эта скандальная постановка и до сего дня — кошмар для шекспирове-дов. Они бледнеют при одном только упоминании о ней, как если бы увидели Призрака», — вспоминал Дмитрий Шостакович, которого Акимов уговорил написать музыку к спектаклю[88].

Николай Акимов поставил перед собой задачу избавить пьесу Шекспира от груза традиционных прочтений. Режиссер избрал главной темой спектакля борьбу за престол, пренебрег философскими исканиями, а всех персонажей преобразил почти

до неузнаваемости: Гамлет утратил романтический ореол, зато приобрел брюшко, постарел и стал почти ровесником Клавдия. «Мы ставили себе задачей, — писал режиссер, — в первую очередь дать оптимистический, бодрый и жизнерадостный спектакль „Гамлета“, за которым установилась такая дурная слава мрачной, мистической, символической и философски реакционной пьесы и который мне разрешено было ставить только потому, что моя постановка отмежевывалась от нависших на «Гамлете» традиций и пыталась по-новому раскрыть его»[89].

«Ничего не поделаешь — получается комедия!» — сказал Н.П. Акимов, начиная работу над спектаклем. И не просто комедия получилась, а комедия эксцентрическая: с трюками, буффонадой, комическими погонями и пр. Акимов заказал переделать тексты нескольких сцен мастерам сатирических обозрений Николаю Эрдману и Владимиру Массу, они сильно сократили монологи принца, превратив их в насыщенные действием сцены.

Вот как вспоминал этот спектакль один из очевидцев: «Акимов сдержал все свои обещания. По сцене пролетала королевская кавалькада вдогонку за убегавшим оленем. Прекрасный рыцарь Фортинбрас, ломая забор копытами коня, въезжал на сцену на фоне лилового неба, под великолепный марш Шостаковича. По краям забора торчали пики с отрубленными головами, и качались повешенные на виселицах. Офелия была действительно очаровательна и необыкновенно соблазнительна в своем черном бархатном платье, обшитом золотом, с низким вырезом на груди. Гамлет был кутила и забияка. Интересную и талантливую музыку написал Шостакович. Одним словом, все было на месте, как и обещал режиссер. Не было только старика Шекспира. Но на этот спектакль его и не предполагали приглашать»[90].

Самой «скандальной» оказалась роль Офелии. Ни о какой любви между Гамлетом и дочерью Полония в спектакле Акимова речи не было. Брак с принцем интересовал Офелию лишь как возможность достичь честолюбивой цели: стать членом королевской семьи. Ради этого она готова была на все: шпионила, подслушивала, подглядывала, доносила. Поняв, что ее мечте не дано осуществиться, она с горя напивается вдрызг и горланит непристойные песенки. «Меня несколько раздражало это малоубедительное сумасшествие, которое целиком укладывается в старинную сценическую традицию, но из нашей сценической традиции выпадает. <…> Я изменил концовку роли Офелии: она ведет легкомысленный образ жизни, в результате чего тонет в пьяном виде. Это гораздо меньше задевает наше внимание, чем если мы будем думать, что она сошла с ума, да еще потонула»[91].

Знаменитый монолог Гамлета «Быть или не быть?» Акимов поставил как сцену в кабаке, где, еле ворочая языком, принц размышлял, быть или не быть ему королем, то надевая, то снимая бутафорскую корону, оставленную актерами после репетиции, а пьяненький Горацио восторженно поддакивал другу.

В свою очередь Дмитрий Шостакович превратил сцену с флейтой в издевку над «пролетарскими композиторами», стремившимися заправлять всей музыкальной политикой того времени. «В этой сцене Гамлет прикладывал флейту к нижней части своей спины, а пикколо в оркестре с аккомпанементом контрабаса и барабана фальшиво и пронзительно играло известную советскую песню: „Нас побить, побить хотели…“, сочинения композитора Давиденко — лидера группы пролетарских музыкантов, песню, написанную по случаю победы советских войск над китайцами в 1929 году»[92].

Стоит ли говорить, что многие возмущались столь вольным обращением с классикой. Но только не Трэверс! Ей спектакль понравился! «Скажите на милость, почему, ну почему меня первым делом не отвели в этот театр, а вместо этого водили в Дома культуры и тому подобное! <…> я должна рассказать вам о театре. Вот где Россия предстает с наилучшей стороны, а посещение театров не входит в программу нашей поездки! „Они показывают вам только самое лучшее!“ Бла-бла-бла. Как бы не так:„лучшее они от вас прячут! Приходится искать на свой страх и риск. <…> даже того немногого, что мне удалось увидеть, прежде чем вспыхнул свет, оказалось достаточно, чтобы убедить меня, что: во-первых, это какой-то совершенно новый „Гамлет“, и во-вторых, всех туристов, чтобы они поняли Россию, надо водить в театр сразу по прибытии. Ясли? Крепости? Чепуха! Жизнь страны-здесь!»

Но как Памела Л. Трэверс смогла попасть на этот спектакль? Кто ей подсказал, посоветовал? Английский кинорежиссер? Или все тот же Т. — Хуберт Батлер? Последнее кажется наиболее вероятным. Вряд ли слухи об авангардной постановке долетели так быстро до Лондона (премьера состоялась 19 мая), хотя, конечно, и такое возможно. Трэверс пишет, что встретилась с неким режиссером (Акимовым или нет? — О. М.), и он ей пообещал контрамарку. Потом она запуталась и попала не в тот театр, бежала по городу в поисках верного адреса, нашла, опоздала, но успела к концу первого акта. Просидела весь спектакль и, судя по комментариям, поняла почти все, хотя Акимов преобразил пьесу почти до неузнаваемости.

«Какая это была игра! Возможно, она бы разбила сердца нашим профессорам, но мое, впервые с тех пор, как я оказалась в

России, вело себя нормально. *Pour arriver a Dieu ilfaut detourner de Dieu*. Пусть постановщики отреклись от того Гамлета, к которому мы привыкли, зато теперь он блистал ярче, чем когда-либо. Все возможные правила были нарушены, текст убийственно сокращен, добавлены цитаты из великого Эразма и безымянная буффонада. Характеры действующих лиц тоже изменились. Розенкранц и Гильдестерн превратились в парочку клоунов, которых выпускали перед,, занавесом всякий раз, когда меняли декорации. Но если подумать: эти двое и впрямь вполне водевильные персонажи, и их легко можно превратить в фарсовых комедиантов. Как часто мы не могли сдержать стонов, когда какой-нибудь знаменитый актер бросал в пустоту риторический вопрос: «Не благороднее ли покориться» и т. д. и т. п., и даже эхо не было ему ответом. Но на этом спектакле было все не так. На этот раз монолог поделили между Гамлетом и Горацио. Два студента в библиотеке дворца: Гамлет вертит глобус, Горацио на лестнице тянется за книгой на самой верхней полке.

— Быть или не быть? — начинает Гамлет.

— Вот в чем вопрос, — подхватывает Горацио.

Диалог продолжается и в самом деле кажется живым — именно так и ведут беседу совсем юные студенты».

Трэверс ошибается: на самом деле эта ключевая сцена проходила не в библиотеке, а в кабаке, но в остальном ее свидетельство отличается точностью даже в деталях. Поразительно, как она, не зная языка, передает содержание этого сложного спектакля! Как смогла догадаться, например, о цитатах из Эразма Роттердамского, действительно вставленных в текст Шекспира? Уж точно — не на слух. Значит, кто-то ей об этом рассказал, объяснил, подготовил... Кто? Увы, мы можем только строить догадки.

Не дрогнув, приняла Трэверс и режиссерскую трактовку печальной участи Офелии: «На этот раз она показалась мне настоящей, несчастной и трогательной».

Памела Трэверс отдала должное и музыке, звучащей в спектакле. Вот как вспоминает о работе Шостаковича для этого спектакля Борис Елагин, один из скрипачей оркестра: «Музыка, которую он (Шостакович. — *О. М.*) написал к «Гамлету», была превосходна. При всей ее новизне и оригинальности она гораздо ближе подходила к „Гамлету“ Шекспира, чем что-либо другое в „Гамлете“ Акимова. Но, конечно, были в этой музыке моменты и вполне эксцентрические — вполне в стиле режиссерского замысла»[93]. Подхватив идею режиссера и окунувшись в атмосферу игры и буффонады, композитор дал волю собственной фантазии. Так, песенка Офелии звучала «в стиле немецких

шансонеток начала нашего столетия, под острый и пряный аккомпанемент джаза»[94].

Финальная сцена в спектакле Акимова также была лишена трагизма, а Шостакович превратил траурный марш в бравурную пародию с вкраплениями музыкальных цитат из Шопена. Памела Трэверс принимает и это. «Спектакль завершился роскошной потасовкой. Фортинбрас и его солдаты явились ангелами, оплакивавшими мертвых: по тому, как смеялась публика, я догадалась, что это была переделка какой-то солдатской песни».

Несмотря на скандальность постановки, премьера «Гамлета» сопровождалась значительным успехом: московская публика валом валила на спектакль, простаивая часами в очередях за билетами, однако значительная часть театралов отнеслась к спектаклю неодобрительно, а критики так и вовсе приняли его в штыки. «Один из московских юмористических журналов <…> поместил злую карикатуру под названием „Новый способ получения двигательной энергии“. На этой карикатуре показан был театр имени Вахтангова. На сцене шел „Гамлет“. Рядом была изображена могила Шекспира в разрезе. Великий покойник все время переворачивался в гробу от ужаса и возмущения за свое поруганное произведение. От тела Шекспира шли приводные ремни к динамо-машине, которая давала энергию для яркого освещения сцены театра»[95]. В конце концов спектакль, как воплощенный образец формализма в искусстве, был снят с репертуара.

Памелу Л. Трэверс не отпугнула новаторская трактовка, наоборот! Мало того, она уверена, что Шекспиру этакая вольность тоже понравилась бы. Что эта советская постановка лучше, чем всякие костюмные спектакли, от которых нафталином пахнет. «Возможно, это и не Hamlet, и все же для меня — вполне Hamlet, и, пожалуй, Шекспир предпочел бы его любым заумным постановкам, режиссеры которых способны вдохнуть жизнь в пьесу, только нарядив главного героя в брюки для гольфа или прибегнув к иным ухищрениям — так что „Гамлет“ превращается в вешалку для декораций…» Оценка П. Л. Трэверс — не просто отзыв случайного зрителя. Напомним: она сама много лет выступала как искушенный театральный критик.

Важным является и ее отзыв о реакции зрителей: «Помимо игры актеров, которая в основном была великолепной, и новой трактовки пьесы, помимо самого Гамлета, наиболее интересной частью спектакля для меня стала публика. Это были такие зрители, о которых мечтает любой актер, но находит, как правило, лишь на небесах — публика, которая отдает себя без остатка, как инструмент музыканту. Между актерами и

зрителями установилась волшебная связь, невидимый, но почти осязаемый поток, так что все становились участниками, и любой человек в театре играл в пьесе свою особую роль. Все они -актеры по природе».

Читая восторженные воспоминания Трэверс о посещении театра, невольно ловишь себя на мысли: пожалуй, молодая англичанка легко вписалась бы в эту компанию литературных экспериментаторов и театральных новаторов, предоставь судьба ей такую возможность! Авангардный «Гамлет» — гротесковый и желчный — становится для будущей писательницы самым ярким событием этой поездки и самым человечным — ведь здесь чувства и эмоции людей получили возможность выплеснуться наружу и проявиться в полную силу.

Попав в Британское посольство, П. Л. Трэверс решительно встанет на защиту спектакля и не согласится с мнением английских дипломатов, которые с возмущением называют постановку «кощунством».

Успех нашего расследования подталкивает сделать вывод, что Трэверс все-таки лукавила, утверждая, будто все персонажи книги вымышленные. Впрочем, она употребляет иное слово — «синтетические», т. е. собирательные. И это важно для решения следующей загадки, ставшей самым «крепким орешком».

В последней главе Памела Л. Трэверс подробно описывает свой визит к некоему А. Она не сразу попадает к нему в гости. Уже в конце пятой главы, отправляясь на прогулку по Москве, она говорит: «Пойду прогуляюсь и поищу А.». Про А. сказано, что это — важная общественная и литературная фигура: «Он семь раз директор. Член нескольких консультативных комитетов, секретарь писательского клуба и успешный драматург». Более того, Трэверс впечатлена еще и тем, что А. — «член партии». Кто это мог быть? Успешных и активных драматургов в то время было немало: Всеволод Иванов, Константин Тренев, Николай Эрдман. Членами партии были Владимир Киршон, Владимир Билль-Белоцерковский, Александр Афиногенов. А может, Хуберт Батлер посоветовал встретиться с Леонидом Леоновым — ведь он переводил его роман «Вор»? Нет, Трэверс пишет, что встретиться с А. ей посоветовал М. — неизвестный друг, оставшийся, видимо, в Англии (поскольку упоминается, что он ранее рассказывал ей о Невском проспекте), но снабдивший Трэверс бумажкой с адресом, которую она показывала всем встречным на улице, когда искала его дом. Впрочем, эта улика весьма слабая. Как мы уже заметили, Трэверс склонна запутывать следы и не боится поройлгротиворечить сама себе.

Гостья ведет с хозяином живую беседу без переводчика. Очевидно, тот достаточно хорошо знает английский — это важная подсказка. Английский язык знали как минимум два именитых драматурга того времени — Билль-Белоцерковский с 1911-го по 1917-й жил в США, а у Александра Афиногенова была жена американка.

Подсказкой может служить и то, что А. имел автомобиль. Это в те времена было редкостью. Известно, что как раз в 1932 году Александр Афиногенов привез автомобиль из заграничной поездки. Машина, возможно служебная, могла быть и у Всеволода Вишневского, ведь он был не только успешным литератором, но и занимал важные посты в Красной армии, так что вполне заслуживал подобной привилегии, однако подтверждения этому предположению нам найти не удалось.

Важным свидетельством является и описание квартиры писателя: «У него было две комнаты и кухня». Далее Трэверс добавляет штрихи к описанию дома, по которым можно судить, что это — дом-коммуна, где живут писатели и художники. Важная зацепка! Таких домов в Москве было наперечет — дом в Лаврушинском в 1932-м еще не был построен, может быть, речь идет о Первом писательском кооперативе в Камергерском переулке?

Кто из жильцов этого знаменитого дома мог принять у себя странную англичанку? Вряд ли мы когда-нибудь узнаем это наверняка. Но позволим себе одну версию: а не мог ли это быть все-таки Всеволод Вишневский? В 1931 году он переехал из Ленинграда в Москву и поселился в доме писательского кооператива в Камергерском переулке, где как раз были двухкомнатные квартиры[96]. Конечно, там жили и многие другие писатели — всего более сорока человек. Почему же мы предполагаем, что А. — это именно Вишневский? В поддержку данной версии говорят несколько обстоятельств.

Памела Трэверс упоминает, что А. «в скором времени собирается начать переводить на русский язык английские и американские книги». Между тем, есть свидетельства, что Всеволод Вишневский пробовал себя и в переводе, правда, немецких пьес. Более того, в 1925-1930 годах он занимался исследованием английского флота и опубликовал несколько работ на эту тему. Знакомые отмечали его особый интерес к международным событиям. Нельзя исключать и того, что с Всеволодом Вишневским мог быть знаком друг З. переводчик Иван Алексеевич Лихачев. Хотя Трэверс и не упоминает его в числе гостей, но о нем пишет Хуберт Батлер, сообщая в том числе, что Лихачев — морской офицер и бывает в Ленинграде

только зимой, а летом уходит в плавание. Вишневский был тесно связан с Балтийским флотом, возможно, что кто-то из офицеров, владевших английским языком, помогал ему в сборе материалов об Англии.

Всеволод Вишневский неоднократно заявлял о необходимости изучения современного западного искусства, его новых форм и признавался сам: «Изучение Запада веду неотступно»[97]. Он живо интересовался литературным процессом за рубежом, не пропускал новых переводов, читал некоторые книги и в оригинале. Известно, что он увлекался Джойсом. Вишневский писал, что в 1932 году «получил из заграницы» книгу Джойса[98] — не Трэверс ли привезла ее ему?

Нет ли других резонов в пользу нашей версии? Есть — Всеволод Вишневский интересовался современной, наиболее авангардной литературой того времени и призывал изучать этот опыт, не отмахиваясь от него как от классово чуждого[99]. В этом случае молодая любознательная англичанка могла быть интересна Вишневскому и как источник ценных сведений по интересовавшему его предмету. По свидетельству Трэверс, А. спрашивал ее о Гертруде Стайн — писательнице, знакомой с большинством модернистов того времени — и даже «велел» гостье «по возвращении в Англию выслать ему полное собрание сочинений Гертруды Стайн».

Всеволод Вишневский — не только один из столпов советской драматургии того времени, но еще и активный общественный деятель, видный военный чин. В 1932 году он еще не был в полном смысле этого слова «членом партии», но явно был большевиком по духу и уже числился кандидатом в члены ВКПб. Вот и радушный хозяин, принимавший иностранную туристку, не только рад услышать от гостьи свежие новости о западной литературе, но и сам не прочь рассказать ей о достижениях советского искусства и доказать преимущества партийного руководства: Советское государство «избавляет художника от необходимости самостоятельно искать тему будущей работы. <…> для художника в Советской России есть три темы на выбор: падение царизма, революция и рождение нового человека (большевика)». Однако Трэверс не поддается агитации. Скептическая сдержанность гостьи еще больше распаляет А., и он предлагает ей совершить экскурсию и «посмотреть на писателей и художников».

«И мы посмотрели на них. Сначала в их красивых квартирах в Доме писателей и в Доме художников. У каждого была своя комната: кровать, стол и стул -все это оплачивается государством, которое гарантирует, что они никогда впредь не будут голодать.

- Но, согласитесь: нищета, голод и нужда часто вызывали...

А. подхватил и закончил мою мысль прежде, чем я успела ее сформулировать.

- ...неизбежные разногласия между художниками? Ну, это все в прошлом. Теперь, когда о них заботится государство, подобные трения могут возникнуть лишь от столкновения мыслей...

Я не стала возражать ему и утверждать, что разногласия наверняка возникнут у жильцов Дома писателей, несмотря на гарантированные кровать, стол и стул».

Время, увы, подтвердило правоту молодой англичанки...

Как бы ни хотелось нам верить, что инициал разгадан, сделать это на основании текста книги невозможно. Наша версия остается лишь одним из предположений. Более того, в самом тексте есть обстоятельство, которое ей противоречит: например, Памела Трэверс называет жену писателя Наташей — это единственное полное имя, встречающееся на страницах книги. Но женой Вишневского была не Наташа, а Софья Касьяновна Вишневецкая. Впрочем, учитывая, сколь вольно обходится Трэверс со всеми персонажами в книге, можно допустить, что и данное имя тоже шифр — не проясняющий, а скрывающий стоящего за ним человека.

Располагая лишь ограниченными сведениями, мы не можем исключить того, что гостеприимным хозяином, угощавшим Трэверс пирожными, мог быть и какой-нибудь другой драматург — выбор велик. Пожалуй, самой надежной уликой можно считать именно интерес драматурга к западному искусству. Увлеченность Всеволода Вишневского новаторскими формами — без границ и национальных пределов — разделяли немногие. Открытость внешним влияниям не раз ставили писателю в вину. Но и в этом «западничестве» и «интернационализме» Вишневский был не одинок. Есть ли иные кандидатуры?

Рекомендацию посетить именно этого литератора Памела Л. Трэверс получает от друга, оставшегося в Великобритании. То есть «успешный драматург» должен быть персоной, известной ее окружению. Что и откуда могло быть известно Трэверс и членам литературного круга, в котором она вращалась, о советском театре?

Вновь перебираем имена: Афиногенов, Киршон, Погодин. А вот еще — Сергей Третьяков! Долгие годы его имя, увы, было почти забыто, но в 1920-1930-е годы это была весьма известная фигура в литературе и театре. В 1932 году на английский язык была переведена пьеса Сергея Третьякова «Рычи, Китай!». И если Памела Л. Трэверс искала новые формы — то эта кандидатура ей,

конечно, подходила тоже. Более того, Третьяков писал текст песен для фильма Ивенса о Магнитке. А также, как и Херберт Маршалл, был связан с кинорежиссером Сергеем Эйзенштейном. Известно, что Эйзенштейн в начале 30-х годов выступал с лекциями в Лондоне и Кембридже — и с большим успехом. Вполне возможно, любознательная Трэверс или кто-то из ее друзей были на этих лекциях.

Сергей Третьяков, также как Всеволод Вишневский, в 1932 году не состоял в партии, но идеологически был, конечно, певцом коммунизма. Также известно, что он пробовал себя в переводе, правда, с немецкого. Сведений о том, знал ли он английский, у нас нет. Но он был заместителем Михаила Кольцова по иностранной комиссии Союза писателей и, по свидетельству его дочери, принимал у себя дома иностранных гостей — Пола Робсона с женой и гостей Первого съезда писателей Сесиль Честертон, Карин Микаэлис, Марию-Терезу Леон, Рафаэля Альберти, китайского актера Мей Ланьфана, Бертольта Брехта, Ганса Эйслера, Фридриха Вольфа, Джона Хартфильда и многих других[100].

Жену Третьякова звали не Наташа, а Ольга, но зато они тоже жили в двухкомнатной квартире с кухней на Малой Бронной. Только была это не писательская коммуна, а Дом Госстраха — памятник конструктивизма, впрочем, также предполагавший обобществленный быт. Агитационные речи, которые ведет А. с Трэверс, по стилистике и запалу явно были в духе Третьякова — одержимого революционными идеями преобразования не только искусства, но и всего уклада жизни.

Впрочем, надо отдавать себе отчет, что все доказательства в пользу Всеволода Вишневского или Сергея Третьякова — косвенные. Конструкция из собранных нами свидетельств получается весьма шаткая: безусловных «улик» нет. Так что воздвигнутый нами «карточный домик» может легко рассыпаться, если в переписке Трэверс или, возможно, в ее архивной папке в КГБ (ведь есть же где-то такая, и рассекретят ее когда-нибудь!) будет обнаружено подлинное имя драматурга, радушно принимавшего английскую журналистку. (Интересно, кстати, как себя представила при встрече Трэверс, вручая записку с рекомендацией от неизвестного М.?)

В любом случае эпизод с посещением А. — интереснейшее свидетельство той эпохи, а также важный штрих к биографии самой Памелы Л. Трэверс.

Пройдет несколько лет, и Всеволод Вишневский совершит путешествие по Европе, посетит Лондон, Париж, Берлин, Рим, встретится с Пикассо, Леже и даже Джойсом. Его впечатления

окажутся удивительным образом похожи на воспоминания Трэверс, в них звучит живая заинтересованность увиденным, азартный поиск нового в жизни и в искусстве, желание понять и воспринять лучшее из творческого опыта писателей и художников Запада, никоим образом не входившее в противоречие с «собственной гордостью» советского гражданина, которую восхвалял Маяковский.

В своих путевых записках Всеволод Вишневский отмечает интерес западной публики к советскому искусству: «На Западе, рассматривая одну сторону общественной жизни за другой, проникая то в трущобу, то в ветхозаветные салоны, то в ателье художника, видишь, ощущаешь непрерывность воздействия нашего бытия, нашей системы, наших идей на зарубежный мир. Мои мысли обращаются к новому центру мира, к новой его столице Москве. Отсюда ждут света, новых открытий, нового искусства. Запад дошел до понимания нашей мощи и плодотворности. Паломничество на московские фестивали театра и кино — явление исторически мировое. Художественный Париж и Нью-Йорк идут к признанию приоритета Москвы. О нашем искусстве, думаю я, на Западе и в Америке искусствоведы сейчас пишут больше, чем у нас»[101]. Это было написано в 1936-м, но отмеченный писателем интерес возник, конечно, намного раньше.

Это свидетельство Вишневского не воспринимается как дань традиционной агитации и отчасти может служить косвенным объяснением заданного нами в самом начале вопроса: что именно побудило английскую журналистку Памелу Трэверс отправиться в Советскую Россию? Если социально-политические перемены в России не вызывали ее восторга, скорее, наоборот — она уже заранее относилась к ним с изрядной долей скепсиса, а в результате поездки еще больше утвердилась в своем мнении, — то новаторские достижения советского искусства, то, что мы теперь называем советский авангард — в любых его проявлениях, — очень ее интересовали и, возможно, стали одной из главных причин, подтолкнувших совершить это путешествие.

К сожалению, не все зашифрованные Трэверс имена и события удалось разгадать. «Московская экскурсия» по-прежнему полна загадок, попытка решить каждую открывает новый фрагмент забытого исторического полотна. Намеки и брошенные вскользь реплики могут стать ключом к важным открытиям.

В любом случае книга Памелы Линдон Трэверс — ценное историческое свидетельство. Хотя автор и старается представить себя, эксцентричной туристкой, далекой от политики, но зоркий взгляд писательницы замечает многое из того, что не желали

видеть ее современники, так что ее записки на самом деле являются пропущенным звеном важного диалога. Трэверс удалось произвести вдумчивый анализ увиденного и позиция ее — позиция честного очевидца.

В то же время «Московская экскурсия» проливает новый свет на биографию Памелы Л. Трэверс и значительно расширяет наши знания об авторе, представляя обширный круг ее интересов и знакомств. Трэверс предстает перед нами не как писательница-сказочница, живущая в отстраненном от реальности мире своих фантазий и мистических видений, а как заинтересованный исследователь современной жизни в наиболее ярких ее проявлениях.

Такой была Трэверс до появления прославившей ее на весь мир книги. Как знать — возможно, именно трезвый взгляд на реальность, которая становилась в 30-е годы все более и более мрачной, подтолкнул писательницу спрятаться в сказку. Да и успех «Мэри Поппинс» определил во многом дальнейшую жизнь ее автора.

«Московская экскурсия» была опубликована в 1934 году. Книга не вызвала широкого резонанса. Как и многие важные свидетельства того времени, она осталась не замечена, а содержавшееся в ней предупреждение не прочитано. Трэверс предваряет книгу предисловием, содержащим тревожные выводы, обращенным в будущее:

«Вопреки условию, поставленному (если не по закону, то по прецеденту) авторам книг о России, эти письма не претендуют на исчерпывающую правду. Точно так же как они не выражают поддержки ни одной из партий. В мире, безумно балансирующем между фашизмом и коммунизмом как двумя формами тирании, писатели, оказавшись перед выбором, предпочитают последний. Но это жалкая альтернатива, поскольку коммунизм в России существует лишь для одного-единственного класса и поэтому имеет мало общего с определением из словарей. Государство, где лев мирно лежит подле ягненка, а кулак — бок о бок с пролетарием, существует лишь на бумаге. Считать, что превратив столь непримиримых противников в супругов, спящих в одной постели, можно создать желанное бесклассовое общество, значит признать себя жалким идеалистом и благодушествующим филантропом по отношению к России, поставившей своей целью механизацию, а не гуманизацию государства».

Увы, эти предостережения не были услышаны. Меж тем они не утратили своей актуальности.

Ольга Мяэотс

notes

Примечания

1

Препятствие, затруднение (фр.)

2

Английский финансист, ярый враг рабочего движения. После поражения всеобщей стачки английских рабочих в 1926 году выступил с пропагандой теории «гармонии» классовых интересов рабочих и капиталистов, так называемого «мондизма».

3

Здесь и ранее обыгрывается лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

4

Видимо, описана встреча с Хубертом Батлером — близким знакомым Трэверс (см. *Комментарии переводчика*).

5

Возможно — Николай Михайлович Архангельский (см. *Комментарии переводчика*).

6

Возможно — Андрей Николаевич Егунов (*см. Комментарии переводчика*).

7

Английский поэт и культуролог, один из наиболее авторитетных литературоведов и эссеистов викторианского периода.

8

Речь идет о Коммунистической площади в некрополе Александро-Невской лавры.

9

Памятник сохранился.

10

Матфей, 6:28.

11

Возможно, после посещения Исаакиевского собора Петропавловский показался Трэверс «маленьким» (*прим. переводчика*).

12

Главная достопримечательность.

13

В оригинале — так. Не понятно, что автор имел в виду (*прим. редактора*).

14

Удивительно (*фр.*).

15

В Англии на Пасху пекут специальные булочки с крестом, которые раздают в церкви.

16

Сколько угодно, без края (*лат*).

17

Явная ошибка автора (*прим. пер*).

18

26 августа 1929 года Совет Народных Комиссаров СССР в постановлении «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР» признал необходимым с 1929-1930 хозяйственного года приступить к планомерному и последовательному переводу предприятий и учреждений на непрерывное производство. Переход на «непрерывку», начавшийся с осени 1929 года, был закреплен весной 1930-го постановлением специальной правительственной комиссии при Совете Труда и Обороны. Этим постановлением был введен единый производственный табель-календарь. В календарном году предусматривалось 360 дней и соответственно 72 пятидневки. Остальные 5 дней было решено считать праздничными. Однако с 1 декабря 1931 года этот календарь был частично отменен. Окончательно возврат к традиционному календарю был осуществлен 26 июня 1940 года.

19

Английская патриотическая песня, претендующая на статус гимна Англии.

20

Видимо, речь идет о фильме «Песнь о героях», 1932, голландского режиссера Иориса Ивенса. Осенью 1932 года фильм монтировался на киностудии «Межрабпомфильм» в Москве (см. *Комментарии переводчика*).

21

Цитата из трагедии Джона Уэбстера «Герцогиня Мальфи» (1614).

22

Жизнь богемы (*фр.*).

23

Возможно, Трэверс отсылает читателя к книге Essad-Bey Stalin, the Career of a Fanatic, 1932, где автор называет Сталина современным Чингисханом (см. *Комментарии переводчика*).

24

Шекспир, «Король Иоанн», акт IV, сцена 2:
Солсбери:

> Торжественный обряд свершить вторично,
> Еще украсить полный блеска сан,
> Позолотить червонец золотой
> И навести на лилию белила...

(*Перевод Н. Рыковой*)

25

Роман Томаса Хьюза (1822—1896), в котором описывалась повседневная жизнь обычной английской школы.

26

Группа в скаутском движении.

27

Установить имя этого режиссера трудно — вполне вероятно, что это был Н.П. Акимов (*прим. пер.*).

Искаж. «Француз» (*прим. пер.*).

Но позвольте! (*фр.*)

30

Черт возьми! (*фр.*)

31

Вам нужен (*фр.*)

32

Чтобы приблизиться к Богу, надо отойти от него (*фр.*)

33

Далее Трэверс описывает спектакль «Гамлет» в постановке Н. П. Акимова, который шел в 1932 году в театре Вахтангова в Москве и вызвал бурю споров (см. *Комментарии переводчика*).

34

Кокран Чарльз Блейк (1872—1951), английский театральный импресарио.

35

У*и*да — псевдоним английской романистки Марии Луизы Раме (1839—1908).

36

Трэверс вспоминает стихотворение злого великана из английской сказки «Джек и бобовый стебель»:

Фи-фай-фо-фам,
Дух британца чую там.
Мертвый он или живой,
Попадет на завтрак мой.

(Пер. Н.В. Шерешевской)

37

Узнать, кто скрывается за этими инициалами, не удалось (*прим. пер.*).

«Лебединое озеро» (*фр.*).

39

Здесь: мастерства (*фр.*).

40

Сольный танец.

41

Невероятно! (*фр.*).

42

Нувориш, быстро обогатившийся человек (*фр.*).

43

Памела Трэверс вспоминает стихотворение американского поэта Уолта Уитмена (1819—1892) «О, Капитан! Мой Капитан!».

44

«Лучшая земля» — цитата из стихотворения «The Better Land» английской поэтессы Фелиции Хеман (1793—1835).

45

Книга Иова 38:31.

McNair John. The Mary Poppins and The Soviet Pilgrimage: P. L. Travers's Moscow Excursion (1934). University of Queensland. PORTAL: Journal of Multidisciplinary International Studies. URL: http://espace. library, uq. edu. au/eserv/UQ:292370/ UQ292370_Fulltext.pdf.

47

См. *Дэвид-Фокс М.* Витрины великого эксперимента: культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921—1941 годы. М.: НЛО, 2015.

48

Ирландский писатель Лиам О’Флаерти вспоминал, как директор англо-американской секции Общества дружбы с Советским Союзом попросил его организовать отделение этого общества в Ирландии и посоветовал привлечь туда Джорджа У. Рассела или Уильяма Б. Йетса. Когда О’Флаерти выразил удивление, почему были выбраны именно эти люди, столь далекие от идей социализма и коммунизма, ему ответили, что они могут помочь пропагандировать идеи новой русской культуры. Не обязательно быть коммунистом и даже социалистом, чтобы принести пользу России. // *O’Flaherty L.* I went to Russia, N. Y. Harcourt, Brace and Co., 1931. P. 257—258.

Lawson Valerie Mary Poppins, She Wrote. The Life of P. L. Travers. N.Y.-Lnd., Simon & Schuster, 2006. P. 84.

Там же. С. 84.

51

Там же. С. 118.

52

Джордж Уильям Рассел (1867—1935) — поэт, художник и теософ. Как правило, свои произведения подписывал псевдонимом *Æ*.

Lawson Valerie, c. 119.

54

Д. У. Рассел был увлечен теософией и идеями Елены Блаватской.

Hornbook Magazine, 1996, Sept.-October, p. 641.

Цит. по: Lawson Valerie, p. 126.

Хьюз Эрмис. Бернард Шоу М.: Молодая гвардия, 1966. С. 188.

Шоу Бернард. Автобиографические заметки. Статьи. Письма: Сборник. М.: Радуга, 1989. С. 133.

Там же. С. 137.

Margulies Sylvia R. The Pilgrimage to Russia: The Soviet Union and the Treatment of Foreigners 1924—1937. Madison, Milwaukee — Lnd.: The University of Wisconsin Press, 1968. P. 187.

61

Подробнее о фильме: *Нусинова Наталья*. «Похождения Октябрины». (К вопросу об особенностях жанровой структуры и этимологии фильма.) // Дар и Крест. Памяти Натальи Трауберг. СПб., Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. С. 129—191.

62

Из переписки переводчика с заместителем директора по научной работе ГМЗ «Царское Село» И. К. Ботт.

63

Так назывался журнальный вариант книги.

The New English Weekly, 1932, May 19. P. 121.

65

В книге *Margulies Sylvia R.* The Pilgrimage to Russia: The Soviet Union and the Treatment of Foreigners 1924—1937 находим свидетельство американской пары, которая побывала в России в 1929-м: «Разнообразные приемы использовались для того, чтобы исключить близкие контакты иностранцев с местным населением из опасения, что туристы могут оказать пагубное влияние на советских граждан или получить нежелательное представление о стране» (P. 125).

См.: Дэвид-Фокс Майкл «Витрины великого эксперимента: культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921—1941». М., НЛО, 2015.

67

Хуберт Батлер (1900-1991) приезжал в Россию в 1931-м и 1932 годах вместе с другом Арчибальдом Лайэлом, который впоследствии написал об этом книгу — *Lyall Archibald*, Russian Roundabout: A Non-political Piligramage. Lnd.: D. Harmsworth, 1933.

Подробно о Хубертё Батлере и его отношении к России см.: *Tobin Robert*, The Minority Voice: Hubert Butler and Southern Irish Protestantism, 1900-1991. Oxford University Press, 2012.

The Teaching Brigade // Irish Harvest: An Anthology of Prose and Poetry. Dublin: New Frontiers Press, 1946. P. 15—25.

Peter’s Window // Hubert Butler Independent Spirit. N. Y.: Farrar, Straus & Girox, 1996. P. 316—348.

Peter's Window // Hubert Butler Independent Spirit. N. Y.: Farrar, Straus & Girox, 1996. P. 316.

Там же. С. 319.

Peter´s Window // Hubert Butler Independent Spirit. N. Y.: Farrar, Straus & Girox, 1996. P. 330.

Николев Андрей. Елисейские радости. М.: ОГИ, 2001.

Никольская Татьяна. Из воспоминаний об Андрее Николаевиче Егунове // Звезда, 1997. С. 231—234.

Маркиш Шимон. Об. Андрее Николаевиче Егунове. Иерусалимский журнал, 2004, № 18. URL: http:// www. antho. net/ jr/18/markish_egunov. html

75

Издательство VEGAAR (ИЗОГИЗ) основано в 1931 году как учреждение, подчиненное Коминтерну, и занималось главным образом изданием полного собрания сочинений Маркса и Энгельса, однако публиковало и художественную литературу.

76

Хуберт Батлер указывает иной дом — № 59, но описание совпадает с домом № 14, указанном в справке «Мемориала».

77

Иван Алексеевич Лихачев (1902—1972). С 1927 года преподавал в Высшем военно-морском инженерном училище им. Дзержинского, числился кадровым военным, ходил в плавания. В 1929-1933 годах был активным членом Общества культурных связей со странами Пиренейского полуострова и Латинской Америки, за что и пострадал в годы репрессий. 26 октября 1937 года был арестован по обвинению в шпионаже и фашистской пропаганде. Переводы Лихачева в книгах «Антология новой английской поэзии» (Л., 1937) и «Поэты французского Возрождения» (Л., 1938) появились без имени переводчика. В 1948-м после освобождения из лагеря был сослан в Вольск. Вскоре арестован повторно, осужден на 10 лет. Реабилитирован в 1957-м, вернулся в Ленинград. Восстановлен на воинской службе, уволен в запас в звании майора. С 1959-го вел семинар переводчиков с английского языка при Доме писателя.

The Teaching Brigade // Irish Harvest: An Anthology of Prose and Poetry. P. 19—20.

79

Следов Дмитрия Кардина найти не удалось, что, впрочем, не удивительно.

80

Иорис Ивенс (1898—1989), голландский режиссер-кинодокументалист, один из наиболее ярких представителей движения «новой вещественности» в кино.

81

О фильме И. Ивенса см.: *Джулай Л.* Документальный иллюзион. Отечественный кинодокументализм — опыты социального творчества. М.: Материк, 2005. С. 32—37.

82

Третьяков Сергей Михайлович (1892—1937) — советский драматург, поэт, публицист.

Schoots Hans Living Dangerously. A Biography of Joris Ivens. Amsterdam University Press, 2000. P. 75.

Дробашенко С. Кинорежиссер Йорис Ивенс. М: Искусство, 1964. С. 43.

Дробашенко С. Кинорежиссер Иорис Ивенс. М.: Искусство, 1964. С. 46.

Ivens Joris. The Camera and I, N.Y.: International Publishers, 1969. P. 70.

Подробнее об этом см.: *Миронова В.* «Гамлет» по-акимовски // В спорах о театре: Сборник научных трудов. СПб., 1992.

Цит. по: *Волков Соломон*. Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича. Глава 3. URL http://testimony-rus.narod.ru/3.htm.

Акимов Н.П. О постановке «Гамлета» в театре им. Вахтангова // *Акимов Н. П.* Театральное искусство. Т. 2. Л.: Искусство, 1978. С. 120.

Елагин Ю. Б. Укрощение искусств. М.: Русский путь, 2002. С. 37.

Акимов Н. П. О постановке «Гамлета». С. 140.

Елагин Ю.Б. Укрощение искусств. С. 37.

Елагин Ю.Б. Укрощение искусств. С. 36.

Там же. С. 37

Елагин Ю. Б. Укрощение искусств. С. 37.

«Здание состояло из двух частей, корпусов, расположенных перпендикулярно друг к другу. Корпус, выходящий окнами на переулок, имел двухкомнатные квартиры, объединенные общим коридором. Есть версия, что эта часть здания предназначалась под гостиницу, но возможно, это был дом-коммуна. В двухкомнатных квартирах была предусмотрена маленькая кухня без окон, а вот ванные комнаты запланированы не были. Позднее жильцы смогли установить их, перегородив небольшие прихожие. Дворовая часть здания, напротив, имеет четырехкомнатные квартиры с большими кухнями, ванными и просторными коридорами». URL: http://um. mos. ru/houses/dom_ pisatelskogo_kooperativa/.

97

Вишневский Всеволод. Письмо В. М. Киршону. Апрель 1933 // Собрание сочинений, т. 6. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1961. С. 433.

Там же. С. 433.

99

«Несмотря на то что ряд критиков как-то грубо и подозрительно относится к огромной тяге к западной культуре и к западному материалу, я ни на минуту не собираюсь ослаблять в себе тяги, потому что диалектика учит тому, что сквозь мертвое может пробиваться живое». Там же. С. 431.

Гомолицкая-Третьякова Т. С. О моем отце // Третьяков Сергей. Страна-перекресток. М.: Советский писатель, 1991.

101

Вишневский Всеволод. В Европе // Собрание сочинений. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960. Т. 5. С. 534.